

Н.И. КАЛЯГИН

•

ЧТЕНИЕ
О РУССКОЙ
ПОЭЗИИ

•



Николай Калягин
Чтения о русской поэзии

«Алетейя»

2021

УДК 82.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)

Калягин Н. И.

Чтения о русской поэзии / Н. И. Калягин — «Алетейя», 2021

ISBN 978-5-00165-204-5

«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Стрехова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись. Нужно понимать, что автор «Чтений...» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-00165-204-5

© Калягин Н. И., 2021
© Алетейя, 2021

Содержание

Чтение 1	6
Чтение 2	31
Чтение 3	57
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Николай Иванович Калягин

Чтения о русской поэзии

© Н. И. Калягин, 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

Чтение 1

Начиная разговор о русской поэзии, уместно будет вспомнить слова Тютчева:

Кому ж они не близки, не присущи —
Жуковский, Пушкин, Карамзин!..

Представим на короткое время, что слова эти и к нам, собравшимся сегодня на очередном заседании Русского Философского Общества¹, относятся. И вот что тогда произойдет: Жуковский, Пушкин, сам Тютчев – это ведь не только имена, тексты, «культурные ценности» – это реально существующие духовные личности, и если они нам действительно присущи, значит, мы в них объединены, просто имеем с ними и друг с другом общую часть.

Умный человек, Фамусов заметил однажды, что *«на всех московских есть особый отпечаток»* – общий отпечаток, свойственный нам как русским, как людям одной культуры, образовался не без воздействия классической русской поэзии.

А о том, что есть поэзия и каков механизм ее воздействия на человека, на общество, – об этом имелись ясные представления лет двести назад, в пору младенчества наук. Баратынский писал, суммируя незрелые теории своего времени:

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастице своей.

В наши дни эстетика как наука продвинулась вперед, продвинулась настолько, что сколько-нибудь серьезный, ответственный разговор о поэзии стал невозможен.

Представьте себе некую шахту, в которую люди спустились однажды за новым знанием – и разбрелись, потеряли друг друга. Но в остальном все идет по плану. Искомое новое знание добывается днем и ночью, шахта разрастается, во всех ее штольнях и ответвлениях трудятся замечательные специалисты – вот только докричаться один до другого давно уже не могут. Объединить их может только обвал и общая могила.

Человечество в целом знает сегодня очень много; каждый отдельный человек не знает уже почти ничего, владеет какой-нибудь узкой специальностью, а в остальном – живет старыми запасами, живет инерцией, накопленной благочестивыми предками, милыми невеждами. Запасы эти небесконечны, пополнения их не предвидится; в сознании современного человека начинают зиять зловещие бреши.

А раз уж всесторонний, подлинно научный разговор о поэзии стал невозможен, остается нам с вами несколько опроститься и «старыми словесы» потолковать о русской поэзии как о части целого, как о части русской православной культуры.

¹ Русское Философское Общество им. Н. Н. Страхова существует в Петербурге с 1991 года. Его участники до 2004 года печатались в журнале «Русское самосознание», а с 2005 по 2013 год – в журнале «Философская Культура».

(Существенная оговорка: предметом нашего разговора будет являться только «книжная», профессиональная поэзия. Стихия устного народного творчества остается, как ни жаль, за рамками настоящих чтений.)

У пророка Исайи (в 3-й главе) мы находим перечень лиц, являющихся «посохом и тростью Иерусалима и Иуды», – собственно говоря, здесь перечисляются люди, без которых не может устоять Православное Царство.

Кто же входит в этот перечень?

«Храбрый вождь и воин, судья и пророк, и прозорливец, и старец, пятидесятник, и вельможа, и советник, и мудрый художник, и искусный в слове».

Итак, вопреки бытующему мнению о бесполезности искусства, о принадлежности его к «предметам роскоши» (мнения такого рода неоднократно высказывались гуманистами типа Ивана Карамазова), мы видим, что художник, поэт, ученый – необходимая принадлежность мирового порядка. Вот первый важный вывод², который мы должны сделать.

Второй вывод, не менее важный, состоит в том, что художнику и словеснику в иерархии должностей и званий идеального Царства принадлежат места со скромными порядковыми номерами 10 и 11. Звание поэта отделено от более важных званий судьи, пророка, народного вождя.

Представим на минуту, что декабристам удалось осуществить свой замысел – царская семья погублена, и вот уже народ, переколотив своих самозванных освободителей, приступает к избранию нового царя. И жребий вдруг указывает на Пушкина... В этом маловероятном случае Пушкину пришлось бы оставить литературу, поскольку ответственность царского звания на десять ступеней выше. А если бы тому же Пушкину на углу Конюшенного переулка и набережной реки Мойки явился Божий посланец – серафим ли, как то было у Исайи, или низшего чина ангел – и повелел ему явиться к Николаю I и, скажем, ввиду готовящегося польского восстания и надвинувшейся холеры призвать русский народ к покаянию, посту и молитве – то, разумеется, Пушкин, не медля ни минуты, отправился бы в Зимний дворец. Оттуда он мог попасть в сумасшедший дом, мог (в случае успеха своей миссии) уйти в монастырь – с литературой в любом случае было бы покончено.

В наши дни, во многом благодаря зловещим успехам так называемой «русской религиозной философии» (я имею в виду успех, которым пользуется, у молодого читателя религиозная публицистика Мережковского и Бердяева), распространились довольно странные представления о христианском вероучении; особенно не повезло притче о талантах, которую все пустились толковать вкривь и вкось. Поэтому стоит, может быть, напомнить простую истину: единственная цель христианской жизни – спасение души, личное спасение. Высота призвания увеличивает степень ответственности и затрудняет дело спасения. Церковному человеку абсолютно чуждо стремление прославиться, выдвинуться, «сделать себя»; он принимает свое звание как крест – любое, какое бы ни досталось, – и тащит его, знаете, тащит... Пушкин поэтом просто родился (как мог бы родиться горбуном, царским сыном – кем угодно), а жизнь прожил довольно обычную христианскую: труды, падения, семейные скорби, покаяние перед концом. Но сколько же прирожденных конюхов, лудильщиков, рыночных зазывал соблазнилось этой посмертной славой, прелестью стихов, обаянием имени – и «вошло в литературу»! Брюсов, скажем, не имел и тени поэтического таланта, но всю свою волю, всю энергию, которую Бог дал ему для устройства какой-нибудь образцовой фабрики, вложил в литературное «дело» и утвердил-таки свое имя в истории русской поэзии. Другие рвались к стихам от дел государ-

² Выражение «искусный в слове» допускает разные толкования. Остановимся на том, что словесность в Древнем мире вообще трехчастна: это ораторское искусство, научные сочинения и поэзия (все три ее рода – эпический, драматический и лирический).

ственных, от высших придворных должностей (К. Р., граф А. К. Толстой). Но об этом весь разговор впереди.

А пока что нам понадобится еще одна отправная точка, третья по счету, для того чтобы начать наш разговор о русской поэзии. Поищем ее в Церковном Предании.

Киево-Печерский патерик, слово 25-е. «О Никите-затворнике, который потом был епископом Новгорода».

Не все, может быть, помнят эту примечательную историю, я ее вкратце перескажу. Никита, молодой инок Киево-Печерской обители, самовольно, вопреки совету духовного отца, ушел в затвор. Там он начал читать книги под руководством явившегося ему ангела и вскоре обнаружил выдающиеся дарования. Известность Никиты началась с того, что он послал человека к Изяславу Ярославичу, бывшему тогда великим князем, и велел передать ему следующее: «Днесь убиен бысть Глеб Святославич в Заволочии, скоро послы сына своего Святополка на стол Новуграду». То есть вы понимаете: где-то очень далеко, на Двине, убит племянник Изяслава – убит только что, сию минуту, – и Изяслав должен скорее послать сына на освободившийся новгородский престол, пока другие Святославичи (Гориславичи «Слова о полку Игореве») не опередили.

Когда сообщение Никиты подтвердилось (а оно подтвердилось), народ повалил к нему толпами. Никита говорил с приходящими о душеполезных предметах, толковал тексты Ветхого Завета, зная весь Ветхий Завет наизусть, немного прорицательствовал – словом, сделался чем-то вроде учителя народного.

Братия монастыря догадались о том, что Никита оболещен, по одной его особенности: он избегал книг Нового Завета и не любил даже, когда другие упоминали о них.

Братия собрались во главе с настоятелем (тогда это был великий Никон, преемник Феодосия), пришли к затвору, помолились за Никиту (причем ангел немедленно испарился) и вывели его на чистый воздух. И стали осторожно спрашивать: «Брат, а что там – в Ветхом Завете? Мирянам рассказываешь, так, может, и для нас что-нибудь выберешь оттуда душеполезное?» Никита только хлопает глазами. «Ветхий Завет? – говорит. – Этого я никогда не читал».

Выяснилось, что не только вся мудрость Никиты, приобретенная под руководством «ангела», стерлась в его памяти, но и что Никита за время своего оболещения вообще научился читать и писать. Братии монастыря пришлось заново обучать его грамоте.

С этого часа Никита вернулся к монастырской дисциплине, оставил мечты о славе, о просвещении народных масс, ангелы ему больше не являлись, и Никита стал сначала исправным иноком, потом – епископом в Новгороде. Достиг святости. В XVI веке канонизирован.

Вот такая не вполне обычная духовная биография.

Мы можем, ознакомившись с ней, снисходительно покачать головой и потолковать об «упадке средневекового мирозерцания», можем, напротив, умилиться и вспомнить слова Пушкина о Киево-Печерском патерике: «Прелесть простоты и вымысла»; мы ведь не обязаны знать о том, что в аскетике слово *прелесть* и означает духовное помрачение, прельщение монаха бесом, принявшим вид «ангела светла», – это нам не нужно, это нужно знать подвижникам, тем, кто ведет духовную брань, – но нам, начиная разговор о русской поэзии, полезно вспомнить о том, что Православная Церковь не признает «духовности по модулю» и свято хранит завет апостола и евангелиста Иоанна: «Не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть: яко мнози лжепророцы изыдоша в мир».

Если что-то нас воодушевило, растрогало, умилило, если мы чувствуем что-то такое волнующе-огромное, тревожаще-пронзительное и неизъяснимо прекрасное, не будем торопиться приписывать свое состояние дуновению Божественной благодати. Возможно, мы переживаем самую скверную минуту жизни, как обнаружится потом, по ее последствиям. Черт – суще-

ство духовное. И Церковь призывает нас к духовной трезвости, учит не доверяться безоглядно своим ощущениям.

Итак, прежде чем попытаться взглянуть на русскую поэзию как на часть русской православной культуры, мы поискали в Писании и в Церковном Предании основания для такого взгляда, точки опоры, и вот что мы обнаружили (повторим вкратце):

– художник, литератор являются необходимой принадлежностью мирового порядка, без поэта и царство не устоит;

– поэт не пророк, не судья, не народный вождь; звание его ниже, полученное им поручение – скромнее;

– наконец, не все духовное хорошо, кстати сказать – и не все телесное плохо: Церковь освящает брак христианина, его дом, орудия труда, еду и питье. Задумаемся на секунду над такими привычными словосочетаниями, как «святая вода» (материальное) и «черная месса» (духовное).

Мы расстались со святителем Никитой, епископом Великого Новгорода, в самом начале XII века. 1108 год – время его кончины.

К этому году было уже написано «Сказание о Борисе и Глебе», а «Слово о законе и благодати», послания Феодосия Печерского («О неделе», «О вере латинской») успели сделаться стариной – бережно сохраняемой, изучаемой, чтимой. В 1108 году Владимиру Мономаху пятьдесят пять лет, только через пять лет станет он наконец великим князем и тогда уже составит свое «Пouchение». А Нестор приступит к переработке Начального свода в «Повесть временных лет».

Уже вернулся из Святой земли игумен Даниил; не прошло и трех лет с того дня, когда он стоял в Великую субботу в Церкви Святого Воскресения в Иерусалиме, только что отвоеванной крестоносцами у агарян. Помните? Вот он стоит рядом с Балдуином I, королем крестоносцев (рядом – потому что король «есть муж благодетен и смирен велми» и «мне худому близь себе поити повеле»), великая церковь наполнена, и «вне церкви людие мнози зело», все в страхе и трепете ожидают сошествия Благодатного огня, и «глаголеть в собе всяк человек: “Еда моих дья грехов не снидет свет святой?”» – И наш игумен смотрит на короля и вдруг видит, как «ручьи чудесно текут из очей его»...

В 1108 году мы обнаруживаем в Киевской Руси цветущую, разнообразную, мощную литературу.

Русская литература – одна из древнейших в Европе. Французская, английская, немецкая литературы младше нашей. Но есть и более древние литературы (болгарская, скажем), ценность которых определяется их древностью и ею же исчерпывается. У нас в России высокая литературная традиция, однажды возникнув, уже не прерывалась, не ослабевала даже, и эпоха Петра I остается до настоящего времени единственной нелитературной эпохой в русской истории («самой нелитературной эпохой», точнее сказать, – какие-то книги издавались и при Петре).

Страшное монгольское нашествие – и то было пережито литературой сравнительно благополучно. «Повесть о разорении Рязани Батыем», выдающаяся по своим художественным достоинствам, могла еще быть следствием инерции, последним вздохом гнущей культуры, но уже «Слова» Серрапиона Владимирского – это именно осмысление нового опыта, опыта катастрофического, и его выражение в прекрасной литературной форме.

«И в наша лета чего не видехом зла? многи беды и скорби, рати, голод, от поганых насилье. Но никакo же пременимся от злых обычай наших; ныне же гнев Божий видящи и заповедаете: хто буде удавленника или утопленика погребл, не погубите людии сих, выгребите. О, безумье злое! О, малoverье! Полни есми зла исполнени, о том не каемся. Потоп бысть при Нои не про удавленнаго, ни про утопленика, но за людския неправды...»

Не самый важный отрывок, может быть (из 5-го «Слова»), но мне хотелось, чтобы вы услышали интонацию – тут живая речь, необычайно яркая, – а ведь этим словам святителя, прозвучавшим когда-то с кафедры Успенского собора, в настоящее время более семисот лет.

И что же? Вся древнерусская литература – мощная, разнообразная, утонченная – была до XVII века полностью нестихотворной.

Но сначала, наверное, необходимо поговорить о поэзии вообще – что это такое? В главном, конечно же, поэзия неопределима. Лучшее определение, которое я могу дать, и самое короткое: поэзия – то, что нельзя пересказать другими словами. В этом смысле «Слово о полку Игореве» – поэзия, и высочайшая. Но в этом смысле и многие страницы Гоголя, Достоевского – поэзия.

Поэзии не бывает без вдохновения, а вдохновение – это то, что вдыхается в человека извне, то, что приходит не спросясь и уходит, когда не ждешь.

Вспомним Грибоедова. План и лучшие сцены комедии явились ему во сне, и вся остальная жизнь Грибоедова, огромный ум, блестящее образование, честолюбие, побуждавшее к творчеству, мало что добавили к тому сну. Или Полонского, в двадцать лет шутя создававшего шедевры, потом же – только слабевшего... Сергея Тимофеевича Аксакова вдохновение посетило в старости, пришло вместе с болезнями, дряхлостью, угрозой слепоты.

Ахматову однажды спросили, не помогает ли ей писать стихи огромный опыт поэтической работы (ей было уже за пятьдесят), и Ахматова ответила довольно удачно: «Голый человек на голой земле. Каждый раз».

Древние греки хорошо понимали, что человеческими усилиями, человеческими заслугами поэзию не создашь, и объясняли вдохновение присутствием музы – богини! – или самого солнечного бога Аполлона, их непосредственным воздействием на поэта.

Но для практики, для безошибочного различения истинного поэта в толпе современных ему «певцов четырнадцатого класса», вот эти разговоры о вдохновении дают чрезвычайно мало. Если я стою над кособоким таким, доморощенным верлибром и говорю, растопырив руки: «Чую близость божества», – кто или что сможет меня переубедить? Ну, я так чувствую... Наука же ничего не знает о вдохновении, и, знакомясь с лучшими современными исследованиями, снова и снова обнаруживаешь досадный пробел: Л. Гинзбург, найдя индукцию у Пушкина, находит ее затем у Брюсова, структуралисты рассматривают рядом тексты Тютчева и Фофанова – и фиксируют наличие однородных элементов... В этом ахиллесова пята формального метода – он не может установить иерархию смыслов, иерархию ценностей.

Сцилла и Харибда. С одной стороны, нам угрожает восторженный дилетантизм, с другой – самодовольный педантизм, узость. Чтобы пробиться к поэзии сквозь эти теснины, тоже надо быть в своем роде поэтом.

Но мы отвлеклись. Речь у нас шла о нестихотворности древнерусской литературы. Упомянули мы и о том, что неизвестный автор «Слова о полку Игореве» – истинный поэт, гений... Как совместить эти два утверждения?

Вспомним упрек пушкинского Сальери Моцарту: *«Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских...»* – а что дальше? Подражать чужому вдохновению – бесплодный путь, путь эпигона; но и сидеть, сложа руки, и ожидать, что твою голову вдруг озарит *«священный дар, <...> бессмертный гений»*, тоже не очень рационально. В данном случае, Сальери напоминает нам о том, что поэзия – не только бог, но и человек, не только вдохновение, но и труд. То есть у поэзии есть сторона чисто человеческая, и версификация, ремесло стихотворца – это именно та синица, которую человек, всякий человек, способен удержать в руках. И получается, что без научного определения поэзии нам не обойтись, – мы его возьмем у Николая Федоровича Остолопова, чей «Словарь древней и новой поэзии» пользовался в свое время (в начале XIX века) некоторой известностью: «Поэзия – способность выражаться мерной речью, или стихами

и созвучиями, или рифмами, в украшенных картинками, описаниями, а также другими вставочными местами сочинениях, коих обыкновенная речь не допускает».

Уже первый признак поэтической речи, указанный Остолоповым, – метр – это то, чему можно научить. И человек, научившийся выдерживать стихотворный размер, подбирать рифмы и проч., сможет писать русские стихи. (Будет ли это поэзия? Конечно, скорее всего, нет. Школа не создает поэтов из ничего; однако поэту, вот этому уроду, который, по слову И. Аксакова, «уже так и родится с неестественной склонностью к рифмам, хорям и ямбам», полезно бывает в начале жизни пройти хорошую школу.)

Так вот, попытки обнаружить метрическую систему в «Слове о полку Игореве», в «Слове о гибели Русской земли», в других произведениях древнерусской литературы делались (и будут делаться), но наукой эти попытки пока не приняты. И остается принять к сведению, что до XVII века в России отсутствует национальная поэтическая традиция, отсутствует стихотворная школа.

В чем же дело? Неужели в том, что, как выразился один современный американский профессор во вступлении к своему ученому труду, посвященному истории философии, религии и науки в нашем отечестве, «СССР до 1917 года был отсталой, слабо развитой страной»?

Допустим на минуту (исключительно из уважения к молодой американской науке), что СССР в XI веке был отсталым государством, – объяснится ли из этого факта отсутствие там книжного стихотворства? Да никоим образом. Дело в том, что поэзия вообще «старше» прозы. При рождении словесного искусства требуется в первую очередь дистанцировать, как-то отделить юную словесность от обыденной речи – отсюда метр, насилие над языком. Проза – более поздняя и «сложная» форма словесности, поскольку внешне она более похожа на обыденную речь. На Руси книжное стихотворство возникает только в XVII веке, а высокоорганизованная художественная проза является на шесть столетий раньше – является сразу, готовая, как Минерва из головы Юпитера. (Мы можем предполагать, что роль «разделителя» выполнил тут церковнославянский язык, на который эта проза опиралась, – язык хоть и близкий народному, но не сливающийся до конца с обыденной речью.)

Византия, от которой Древняя Русь восприняла свое просвещение, обладала развитой поэзией. Скажем больше: в X–XI, да и в XII веках Византия являлась единственной христианской страной, где существовала серьезная поэзия на народном языке. И византийских поэтов знали у нас и переводили – но переводили прозой.

Исследования зарубежных славистов (Р. Якобсон и др.) показали, что уже в XI в. техника церковно-славянской поэзии была не просто развитой – она была изощренной. Русский человек, посещая храм каждое воскресенье, зная назубок церковную службу, впитывал эту поэзию; и влияние ее, влияние литургической гимнографии обнаруживается в устном народном творчестве: в духовных стихах и в «стихах покаянных».

В самом устном народном творчестве издревле существовали жанры, организованные метрически (размер в них был неразрывно связан с напевом). И в том же «Слове о полку Игореве» исследователи обнаруживают следы влияния эпоса.

Невозможно усомниться в существовании на Руси говорного, бахарского стиха. Следы его влияния обнаруживаются в «Молении» Даниила Заточника.

Все предпосылки налицо – почему же нет книжного стихотворства?

Филологическая наука отвечает на этот вопрос уклончиво: «Да, загадка. А впрочем, стихов не было не только на Руси, но и в других государствах Восточной Европы, принявших просвещение от Византии, будь то государства славян, Румыния или Молдавия. В Чехии, например, стихов не было, пока она оставалась православной, а как только православная литургия в Чехии пала – стихи появились».

Вообще же, устное народное творчество, вот эта богатейшая праславянская языческая основа – она-то, очевидно, и удовлетворяла потребность в поэзии средневекового русского

человека. Христианство в Древней Руси было вообще светлым, радостным; Церковь была достаточно мягкой, снисходительной – ну, она смотрела сквозь пальцы на то, что мирянин, когда приходил “потехи час”, обращался к своим сказителям, песенникам, скоморохам...»

Академик Лихачев так прямо и пишет: «До середины XVII в. стихи встречались лишь спорадически, так как потребность в любовной лирике удовлетворялась фольклором».

Положим, все это так и было, – но как оно было, как именно?

Первая запись русской народной песни произведена, как известно, в 1619 году, поэтому разговоры об устном народном творчестве XI, скажем, века останутся навсегда беспредметными. Мы знаем, что Феодосий однажды прекратил музыкальный вечер, происходивший в палатах у Святослава Ярославича, простым вопросом: «Вот так ли будет на том свете?» – эпизод этот описан Нестором в «Житии Феодосия»; но нам негде взять программу того вечера и некого расспросить о том, что за «гуслиные и орьяньные гласы и замарьяные писки» звучали в палатах великого князя в 1067 году.

Однажды уже произошло чудо: раскрытие русской иконы, явление из-под слоя непроницаемой, черной олифы Дионисия, Андрея Рублева... Это открытие в корне изменило все существовавшие представления о древнерусском искусстве, о самом характере, о достоинстве древнерусского человека. Действительность далеко превзошла дерзкие мечтания горстки квасных патриотов, осмеливавшихся в XIX веке признавать за русской стариной некоторое культурное значение, некоторую самооценку.

Произойдет ли когда-нибудь такое же чудо с русской песней, былинной, народной сказкой? Удастся ли расчистить их от позднейших наслоений, восстановить утраченные звенья? «Блажен, кто верует. Тепло ему на свете». В свое время мы будем говорить о попытке Заболоцкого воссоздать русский героический эпос. Примечательно, что последний классик русской поэзии в последние годы жизни приблизился именно к этому рубежу.

Возвращаясь к формуле Лихачева (регулярного стихотворства не было, поскольку потребность в любовной лирике удовлетворялась на стороне), заметим, что в Древней Греции, которая стала колыбелью европейского искусства и науки, возникновение лирической поэзии не было связано с любовной потребностью. Предание гласит, что в VII веке до Р. Х. в Спарте начались гражданские раздоры, смута, тогда явился с Лесбоса кифаред Терпандр, призванный дельфийским оракулом, заиграл и запел – и понемногу в городе воцарились спокойствие и порядок. (Сохранился величественный зачин гимна к Зевсу, сложенный Терпандром и существующий на русском языке в переводе Вяч. Иванова: «Зевс, ты всех дел верх...» и т. д.)

В Древней Греции хоровая лирика обслуживала религиозные праздники, а без этих праздников, скреплявших аморфное население обручами надличностных идеалов, сплавливавших единицы в общность, полис просто не выжил бы в тогдашних условиях всеобщей войны и вражды. Потребность в поэзии была жизненной и коллективной.

Любовная лирика пришла позже и легла во многом на готовые формы. Сапфо и Алкей появляются только в третьем поколении греческих лириков, причем появляются на периферии и при жизни не могут соперничать в популярности с Серсикором.

Остается договорить то, что не захотел (или не осмелился) выговорить академик Лихачев: главную потребность древнерусского общества, потребность в общенациональном идеале, удовлетворяла Церковь, удовлетворяла православная литургия; некоторые второстепенные потребности – там, в любовной лирике или в сатирическом взгляде на семейную жизнь соседа – действительно удовлетворялись фольклором.

Для индивидуальной поэзии, таким образом, почти не оставалось места.

Впрочем, место могло бы и найтись. «Дурное дело – нехитрое», – гласит народная пословица; и если бы, например, Нил Сорский сбросил монашеское одеяние и употребил весь свой литературный талант, всю свою эрудицию на составление русских стихов, прославляющих пенную брагу и свободную любовь, если бы Иван III одобрил эти опыты и приблизил певца ко

Двору, – национальная поэтическая школа была бы создана раньше. Но в этом случае Россия вряд ли пережила бы Смутное время.

Лучшие люди нации были на высоте своего призвания. Свой Рабле, свой Франсуа Вийон так и не появились в средневековой России.

Мимоходом задумаемся: а точно ли высока эта страсть – «для звуков жизни не щадить»? И что есть поэт в человеческом общежитии? Обособление, аномалия, ходячее исключение из правил. Инструмент, посредством которого добывается редкий и ценный минерал: поэзия. Перефразируя Паскаля, скажем: «Хороший стихотворец – плохой человек». Специальность поэта заключается в добыче и обработке звуков, и он, увлекаемый честолюбием, захваченный азартом литературной борьбы с ее жесткой внутренней логикой, способен приносить в жертву специальности и собственную внутреннюю крепость, и мир душевный своих близких, и многое другое, без чего человеку трудно обойтись, а христианину просто не положено обходиться. (Так, золото – благородный металл, но драга, которую этот металл добывается, ничего благородного в себе не содержит, загрязняет воды, уродует землю и отравляет воздух.)

В христианской средневековой Европе мы находим только одну страну, в которой национальная поэтическая школа могла появиться безболезненно, в результате органического роста, – конечно, это Италия, где памятники античной эпохи встречались на каждом шагу, Вергилий и Овидий входили в обязательную школьную программу, да и народный язык был близок латинскому. Но и в Италии рождение национальной поэзии шло рука об руку с процессами секуляризации, омирщения (так называемое Возрождение), а для России стать первым поэтом в национальной традиции значило просто оторваться от предыдущей традиции, ногами оттолкнуться от матери-Церкви.

Заслуга создания русского поэтического языка принадлежит, как известно, Ломоносову. Рассмотрим цепь поступков, которые пришлось ему ради этого совершить:

- Ломоносов тайно уходит из дома и, нарушая прямой запрет отца, едет учиться в Москву – разрыв с семьей;
- при поступлении в Славено-греко-латинскую академию Ломоносов объявляет себя сыном священника, т. е. порывает уже и с природным своим сословием;
- по окончании академии отказывается принять сан – разрыв с духовным сословием;
- уезжает в Германию, прерывая тем самым церковное общение; женится на протестантке.

Для любого нормального русского человека – XV-го, скажем, века – это ряд катастроф, духовное самоубийство.

Но мы знаем и конец этой истории. Ломоносов возвращается на родину, восстанавливает отношения с семьей (усыновляет племянника), приобретает чины и звания на царской службе. А Церковь? Церковь считала и продолжает считать Ломоносова в числе своих верных чад: стихи его включались в двухлетнюю программу церковно-приходских школ, могила Ломоносова – в Александро-Невской лавре...

Поступки Ломоносова были следствием его личной инициативы, но сама она была лишь откликом на инициативу сверху. А эта последняя принадлежала Царю, помазаннику Божию.

В России XVIII века процесс секуляризации, омирщения шел сверху, и само омирщение было, таким образом, освящено.

Но мы чуть-чуть забежали вперед.

В XVII столетии в России вдруг появляется большое количество стихов: тут и рифмованная проза, и раешник, и силлабические вирши.

Настоящий наплыв стихов, наводнение – после многовековой засухи. Об одной из причин этого наплыва мы уже вскользь упомянули: к XVII веку относятся первые записи фольк-

лора, и для нас просто «проявляется» тот фон, на котором с XI века создавались прославленные памятники нашей письменности.

Вторая причина – политическая и культурная экспансия западного мира. Тридентский собор закончился в 1563 году, на следующий год орден иезуитов был приведен в Польшу, а еще через пять лет – в Литву. Не так уж беспричинна была мания преследования, развившаяся у Ивана Грозного во второй половине жизни. *«А век тот был, когда венецианский яд, незримый как чума, прокрадывался встуду: в письмо, в причастие...»*

После Люблинской унии (1569 г.) множество русских православных, издавна проживавших в Литве и Польше, оказалось под прессом новообразованного могучего католического государства, наэлектризованного энергиями контрреформации. Мы не будем здесь говорить о политическом давлении, которое оказывалось на православное население Западной Руси; для нас важно то, что уже в первые 10–12 лет после образования Речи Посполитой иезуиты сумели создать целую литературу – полемическую и агитационную – на русском языке. В этих краях, но выражению А. В. Карташева, «встал вопрос о спасении православия средствами своего просвещения – школы, науки, книжности».

Для противостояния сильному и безжалостному врагу необходимы мужество, жертвенность. Этого хватало. Оставалось позаботиться о главном: удостовериться в том, что правда не на стороне врага, ополчившегося против нас, что не с правдою мы враждуем.

Если иезуиты переводили, скажем, раннюю публицистику Георгия Схолария, византийского патриота, который (в надежде на военную помощь Запада против турок) выступал противником Марка Эфесского и защитником Флорентийской унии, – значит, следовало как можно скорее ввести в культурный обиход поздние, зрелые труды св. Георгия (Геннадия) Схолария, первого патриарха Константинополя после его падения, непримиримого противника латинян.

Центр православного просвещения создается в городе Остроге, сюда вызывает князь К. К. Острожский Ивана Федорова, здесь в 1581 году увидела свет знаменитая Острожская Библия (первая печатная Библия православного мира) вместе с «Хронологией» Андрея Рымши.

В предисловии к читателю и в виршах на герб князей Острожских Герасим Смотрицкий использует неравносложный стих – в сущности, это народный стих, раешник, – но опирается при этом на церковно-славянский язык:

И убывает луна Ветхаго Завета,
Сияет бо солнце неприступнаго света,
В нем же ходя не поткнется,
Но паче спасется.

Автор «Хронологии», напротив, выдерживает равное число слогов в каждом стихе (принцип изосиллабизма), но при этом пишет на языке народном:

Жидове сухо прошли Чирвоное море,
Кормил их Бог на пуци, не было им горе.

Следуя спортивной логике современной науки, помешавшейся на отыскивании приоритетов (неважно, кто сделал лучше; само это «лучше» тем более неважно – важно знать, кто был первым у дверей патентного бюро), можно назвать белоруса Андрея Рымшу основоположником регулярного стихотворства на Руси. Впрочем, первые стихотворцы Московского государства придерживались скорее линии Герасима Смотрицкого (чей сын Мелетий и составил, кстати сказать, ту «Грамматику», которая стала «воротами учености» для юного Ломоносова), но они нащупывали эту линию самостоятельно – о каком-то заимствовании не может быть и

речи. В жизни Московского царства второй половины XVI в., довольно замкнутой и самодостаточной, хватало своих забот, своих проблем – в том числе и эстетических (выступление Ивана Висковатого). Три-четыре просветительских кружка, возникших в Остроге, Львове, Вильно, ничего не изменили во внутреннем равновесии России. Просто на западной границе православного мира завязались авангардные бои.

Смутное время, шайки поляков, литовцев, шведов, русских изменников, опустошавших страну, перенесли борьбу в самое сердце русского государства.

Физическое присутствие поляков, вынужденное близкое знакомство с чуждой культурой явилось, по всей видимости, последним толчком, вызвавшим к жизни ту поэзию, которая в науке носит обобщающее название: *досиллабическая поэзия*. Впрочем, доказано фактически (Панченко), что эта поэзия генетически связана с раешным стихом, с устным народным творчеством.

Так кто же они, первые русские стихотворцы?

Князь Иван Хворостинин, потомок старинного рода ярославских князей, сын опричника, кравчий при дворе первого Лжедмитрия, а при Михаиле Романове – воевода в Мценске и Переяславле-Рязанском.

Тимофей Акундинов, последний из 19-ти самозванцев Смутного времени, казненный в Москве в 1653 году.

Иван Наседка – один из составителей и распространителей патриотических грамот 1611 года, богослов, ключарь московского Успенского собора, сосланный при Никоне в северный монастырь и из ссылки не вернувшийся.

Разные люди, как видим. Кто-то сочувствует интервентам, кто-то мужественно противостоит им. Кто-то, пользуясь обстановкой сумятицы и неразберихи, ищет личных выгод. Идет борьба, в жизни и в литературе; все так или иначе вовлечены в эту борьбу.

Князь Хворостинин – западник, о чем красноречиво свидетельствует первая его «вирша», дошедшая до нас: *«Московские люди сеют землю рожью, // А живут все ложью»*.

Русский западник – существо вообще двоящееся: что-то в нем есть от Чаадаева или даже от Петра Великого, что-то – обязательно от Смердякова. Князь Иван любил повторять, что «на Москве людей нет, все люд глупой», а люди все в Литве. Узнав стороной, что «молиться не для чего и воскресения мертвых не будет», князь Иван не утаил это важное открытие от своей дворни, а так как глупые люди туго воспринимали новое, математически выверенное учение, то князь Иван просто запретил им посещать церковь. Тут правительство, наконец, вмешалось (1622 г.) и отправило его в ссылку.

В ссылке в душе Хворостинина возобладало чаадаевское начало: он покался и, возвратившись через год в Москву, написал ряд полемических сочинений в защиту Православия – сочинений, изящных по форме и в то же время обильно нашпигованных книжной мудростью:

Ни Платон, ни Пифагор, ниже Аристотель —
Не обретаются из них духовный сказатель...

.....

Не наши пастыри церковнии сопостаты,
Иже прелазят, а не входят истинными враты.
Не таков бысть Господь, иже наш Спаситель,
И Андрей апостол, российский учитель.
Не таковы римские учителя,
Но всему миру великие мучители.

.....

Мы же возлюбим Христу угождати
И святое имя Его величати,

И сохраним твердо гонимую веру,
И отмещем мерзкую оферу.

.....
Ибо Господь наш много за нас пострадал
И нам терпения Свой образ предал.
Таже святой Андрей крестную смерть приял,
В Патрех Ахайских за Христа пострадал,
Благих всемирный ловец,
Неложный пастырь Христовых овец.

Нельзя не заметить, что в сочинениях своих, как и в жизни, князь Иван Хворостинин парит высоко над глупым московским людом. Правда, последний как раз и сохранил в невыносимо трудных условиях Смутного времени «гонимую веру» – и именно ту, в которую через десять лет удалось затащить на аркане князя Ивана. Но простая справедливость требует признать, что среди современников Ивана Хворостинина никто так красноречиво не писал в защиту Православия, как это удавалось ему.

Иван Наседка, например, в версификации совсем не блещет.

В тот год, в который Хворостинину пришлось отправиться в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь, Иван Наседка попал в Данию и прожил там несколько месяцев. Царь Михаил Федорович решил посватать племянницу датского короля, и Наседка, ближайший сотрудник патриарха Филарета, вошел в состав русского посольства. Двухэтажный дворец датского короля поразил Ивана Наседку – точнее сказать, поразило его то обстоятельство, что дворцовая церковь здесь была устроена *под* пиршественным залом. В своем сочинении, довольно нескладном, которое называется «Изложение на люторы», Иван Наседка помешает описание этого возмутительного факта.

Мера в его стихах отсутствует, язык темен и неблагозвучен. Но если велеречивый князь Иван Хворостинин, как щитом, закрыт от нас своей ученостью и словесным мастерством, то в этом вот простодушно-доморощенном «изложении» то ли вопреки форме, то ли благодаря ей живые чувства автора и нравственная его физиономия запечатлелись и сохранились до наших дней:

Дива убо есть велика та палата видети,
Христианам же истинным зело ю достоит ненавидети.
.....
Горе убо устроил двоекровную палату,
Долу же под нею двоеимянную ропату,
И по-люторски нарицают их две кирки,
По-русски же видим их: отворены люторем во ад две дырки;
Горе убо устроен в палате блуда и пианства стол,
Долу же под ним приношения пасения их на Божий престол.

Тимофей Акундинов в стихах своих жалуется довольно забавно:

Почто, Москва, зло все забываешь, —

т. е. принимая «злых» Романовых,

А мне, природному своему, повинности не воздаваешь?

Вообще же, этот изолгавшийся человек, пять раз на своем веку менявший веру, побывавший и католиком, и мусульманином, и протестантом, выдававший себя то за сына Василия Шуйского, то за его же внука, был незаурядным стихотворцем, о чем свидетельствует хотя бы такой отрывок:

Мой верне милый читательнику,
Не дивись настоящему враждебнику,

Что он в наследии нашем господствует —
Так ему мир, а не Бог дарствует,

Который злых возвышает,
А благих отнюдь уничижает.

Смотри же не начала, но конца,
Да будешь мудр до конца.

Хто сначала скачет,
Тот напоследок плачет.

.....

Здоров же, любимичи, буди,
А своего государевича не забуди.

Крупнейшим писателем этой переходной эпохи должен быть признан князь Семен Шаховской.

Образованный человек, замечательный историк Смутного времени, Шаховской прожил бурную и очень тяжелую жизнь: труды, болезни, раны, опалы... Шесть раз его сослали в разные отдаленные места, даже и к смерти приговорили однажды, но, к счастью, не казнили.

С одной стороны, такова была общая судьба русских людей того времени, с другой – таков уж человек был князь Семен Иванович: простодушный, непрактичный, на редкость неудачливый. Одним словом, бесталанный. Так, например, крупные неприятности принесла ему четвертая женитьба (что запрещено церковными канонами). Но Шаховской не был легкомысленным человеком – просто имел несчастье потерять трех жен, не пробыв и пяти лет в общей сложности на положении супруга. (Неправдоподобная ситуация, никем, кроме В. В. Розанова, не предусмотренная.)

Неудачник в плане житейском, Шаховской оставил яркий след в истории литературы: именно из его «Летописной книги» мы черпаем свои представления о главных деятелях Смутного времени, а словесный портрет Ксении Годуновой, созданный пером Шаховского, может украсить любую, самую строгую антологию русской прозы: это наша классика.

В стихах Шаховскому принадлежит послание к князю Пожарскому, замечательное по многим достоинствам. Подкупает свобода, с которой автор – за 150 лет до Державина – говорит о себе, о своих житейских обстоятельствах. И как говорит! Размеренно, сочно, картинно.

У этих стихов, выпрашивающих денежное вспомоществование, тяжелая поступь.

Автор успеваеt сказать решительно обо всем:

И о Божиих к нам великих щедротах, и о долгом терпении,

И о нашем к Нему жесткосердстве и всегдашнем неисправлении,
—

и о добрых делах князя Пожарского, и о правильной заточке его меча – но поглядите, как неназойливо и сильно:

И хощем вспомянути твою к себе милость и рещи о своей скорби
и
недостатце.
Не мощно бо великия ради нужды преминути сего вкратце.
И еще без лености хошу потружатися чернилом и пером
И убогою своею мыслию и недостаточным своим умом,
Поне же мысль моя разгорается во мне, аки пламень в печи,
Нудит мя о всем твоём добродееании доволне рещи,
Аше и без нас недостойных идет о тебе предобрая слава всюду,
Яко всегда имеши на враги меч свой остр обоюду.

Во время польской интервенции два князя служили рядом, рука об руку, и Шаховской вспоминает:

Что же рцем, и что возглаголем, но вспомянем вышереченное
слово.
Было же врагов наших зияние на нас, аки рыкание львово...
Но Господь Бог совет их разорил
И гордость их до конца низложил.

Незаметно переходит к прежним благодеяниям Пожарского:

Прокормил еси нас с супружником нашим и с родшими от нас
сироты,
И потом не вменил еси себе в тягость нашего же к тебе стужения,
И не видя от нас никоторого к себе рабского служения,
Пожаловал нас...

Но, к несчастью,

И что было ваше жалованье, государей моих, то все изошло, —

и Шаховской переходит к рассказу о современном своем положении:

Сам государь, веси, напрасно стражу и погибаю,
Помощника и заступника себе в таковой сущей беде не обретаю.
Рад бы был, иже бы жив вшел во общую мать землю,
Понеже на всяк день смертное биение от спекуляторей приемлю.
Но не мощно ми сего сотворити, что самому себя смерти предати
И многогрешная душа своя и тело во ад низпослати.

И наконец, прямо и бесхитростно излагает свою просьбу:

Не хитро и не славно осудити и погубити мужа безответнаго.
А не имею милующаго ни ущедряющаго отнюд никого,
Мне же, яко всякому, злато и серебро милее бывает всего.

Это кульминация послания, она наступает на пятой странице. Далее следуют еще шесть – мы их опустим.

Что же сказать в заключение о поэзии досиллабической? Мы убедились, что просмотренные нами образцы не являются каким-то сгустком чистой поэзии – самоценности, самодостаточности в них не слишком много. Но в них чувствуется нерв народной жизни, время отражается в них – тяжелое время, так похожее на наше сегодняшнее, и человек переходной смутной эпохи выказывает, обнаруживает себя. Несмотря на варварскую, заимствованную у интервентов одежду, это поэзия. Хотя именно одежда делает ее поэзией формально. В общем, это переход, минута.

На Россию надвигается духовная ночь. Смутное время пережито, пережито с Божьей помощью, но проблема, вызвавшая крушение государства, интервенцию и Смуту, стоит по-прежнему остро. Впереди реформы, церковный раскол, «латинское пленение церкви», а в Женеве вот-вот уже родится женевец Лефорть.

Один североатлантический политик лет пять назад назвал Россию «темной страной» за то, что она не участвовала «в крестовых походах, Возрождении и Реформации». Отечественные либералы также любят говорить и писать о «культурной изоляции» Московской Руси XVI века, часто цитируют Курбского, считавшего, что Иван IV «затворил царство Руское, аки во аде твердыни», все поминают земную печальную участь св. Максима Грека, охотно рассуждают про *сон*, в который погрузилась к концу века Церковь... Все это резонно, и только остается добавить, что русская история «*грустна, но не сказать чтоб уникальна*»: история Византии, история Иудейского царства выглядят ничуть не лучше через либеральные очки.

«Ни мануфактур образцовых, ни Реформации – один только обскурантизм». – «Разврат придворный! Лицемерие!» – «Исайю перепилили деревянной пилой, Максима Исповедника замучили...» – «Вот они, деспотии-то восточные!»

Верно, злой царь Манассия погубил пророка Исайю – но этому нечестивцу, знаете ли, *было кого губить*. А в рыночной демократии, увы, пророки, святые, отцы Церкви так же точно не предусмотрены, как и злые цари, коварные евнухи, «волчьи соборы»... Приходится выбирать. «Темная» Россия выбрала своим идеалом – святость.

И «третий Рим» – это не социальная утопия, которую нам, русским, не удалось осуществить на практике и над которой поэтому следует посмеяться, а затем обратиться к опыту государств с более уравновешенной социальной политикой. Третий Рим – повседневная наша реальность, прошлое, настоящее и будущее народа нашего, тот воздух, которым мы все нечувствительно дышим.

(Три Рима новозаветной истории осуществляют последовательно то служение, которое в ветхозаветные времена было поручено Израилю. Можно поэтому говорить о Москве и как о «Новом Иерусалиме». Тем более, что в современной секуляризованной лексике «Рим» – всего лишь символ мощного государства, мировой державы, каковой Россия до недавнего времени была и, Бог даст, будет снова. Но разве привлекательны для нас сами по себе земное могущество и земная слава? Разве не сказал однажды и навсегда святой благоверный великий князь Александр Невский, участник крестовых походов со стороны России: «Не в силе Бог, а в правде»?)

Два события, подготовленные веками предшествующей русской истории и тысячелетиями истории всемирной, произошли в XVI веке. Грамота Вселенского патриарха утвердила

царское достоинство московского великого князя, и автокефалия Русской Церкви была признана Церковью Вселенской.

А это значит – появилось третье православное царство (после Иудейского и Римской империи Константина Великого), появилось вновь государство, в котором некуда спешить, за пределами которого нечего искать, в котором достигнута возможная на земле полнота бытия. Россия всем своим громадным телом вступила в реальность Тысячелетнего царства.

Не надо думать, что в Православном царстве исчезают несправедливость, нищета, болезни – все это остается, но осмысливается по-другому и нередко принимается с благодарностью. Православное царство – это государство, в котором правильно славят Бога. Находясь на такой высоте, трудно интересоваться еще чем-либо всерьез.

Нельзя без грубой натяжки идеализировать историческое бытие России XVI века. «Дух и буква истории совсем не тождественны, – замечает по этому поводу современный православный богослов. – Там, где преизобилует благодать, усиливается натиск греха на благодать». Так было в Иерусалиме, так было в Константинополе и Москве. Земная история трех Царств изобилует взлетами и падениями, она катастрофична, она почти неправдоподобна – короче говоря, она сращена с историей Священной.

Но к тому моменту, когда Россия выпала из исторического времени, на Западе оно закрутилось с удвоенной быстротой. Ренессансный человек, голодный, злой и настырный, быстро распространялся по лицу земли, опустошал колоссальные территории в Центральной Америке и в Черной Африке, богател, оттачивал свои познания в военном деле. Промышленная революция, главное детище секуляризации, уже маячила на горизонте.

Что же происходило в этих условиях с реальностью Тысячелетнего царства? Бога славили правильно; скорби: немотивированную жестокость Ивана IV, прекращение династии, голод при Годунове, приход Самозванца, междуцарствие – все это люди понимали как оперативное возмездие за свои же грехи и готовы были переносить. Но вот чего совершенно нельзя было вынести – это когда Баторий захватывает Полоцк и все приходские храмы, все монастыри передает иезуитам – в один день губит шестисотлетнее православие.

Флоровский пренебрежительно пишет о том, что церковный раскол у нас произошел вследствие отсутствия духовной перспективы («Пути русского богословия»); думается, это тот именно случай, когда молодой интеллигент, имея ясную перспективу для себя лично – преподавать патрологию в Парижском богословском институте, – «забывается от счастья» на долгое время и начинает смотреть свысока на духовную жизнь простецов – сапожников, угольщиков и прочих не-богословов.

Перспектив было несколько.

Одна из них – хранить Православие, но и обживаться в новом мире, вести диалог с инославными, чему-то у них поучиться, что-то, если удастся, и им передать... Путь магнатов Западной Руси, который в XX веке нашел продолжение в горьком опыте двухмиллионной «первой волны» русской эмиграции. На этом пути многие сумели сохранить верность Православию, но так и не обжились в мире, чуждом и прямо враждебном Православию. Другие обжились и Православия не сохранили. Синтез не удался, кажется, никому.

Дети наших магнатов, соблазнившись земной славой, принимали католичество (как принял его сын Константина Острожского), внуки – католиками рождались.

Второй путь – путь старообрядцев. Остаться с Христом; уйти в сруб, в землю зарыться, но не смешиваться с ополоумевшим миром, сохранить себя, сохранить образ Божий; а если все-таки придут цивилизаторы с ружьями и начнут извлекать из сруба «для экуменистических контактов» – что ж, дерево горит, можно его поджечь...

Какое согласие между Христом и Велиаром?

Третий путь, путь лучших людей реформы, путь Петра и Ломоносова, означал готовность принять вызов западного мира, перенять вражеские хитрости, чем-то поступиться, в чем-то замараться, но в конце концов стать сильнее Запада и показать ему на деле, чья вера лучше.

Именно на этом пути и возникло русское книжное стихотворство, русская поэзия – от Третьяковского до Заболоцкого.

Но мы сейчас подошли вплотную к силлабической русской поэзии, а это не та тема, которой можно увлечь слушателей или хотя бы увлечься самому. Поэтому буду краток.

Готовность принять вызов западного мира ознаменовалась в царствование Алексея Михайловича приглашением большого числа украинских священников, которые должны были завести у нас школьную науку не хуже, чем в Польше. Эти люди, номинально православные, но получившие образование или на Западе у иезуитов, или в православных школах и коллегиях Западной Руси, устроенных также по иезуитскому образцу, отличались высокой самооценкой; русская культура была для них каким-то «иксом», неизвестной величиной, вычислять которую они ни в коем случае не собирались; просветительский зуд был в них весьма велик – они-то и принесли в Россию силлабическую поэзию.

В русских условиях силлабическая поэзия – это проза, нарубленная на строчки и снабженная по концам строчек побрякушечками рифм.

В Польше, откуда эта поэтическая система проникла к нам, она имела значение как первая национальная стихотворная система, притом же все слова в польском языке имеют ударение на предпоследнем слоге (кроме, конечно, односложных), и не так уж трудно добиться приемлемого звучания, добиться мерности – просто подбирая равносложные слова. В Польшу силлабическая система пришла из Франции, в языке которой все слова тоже имеют фиксированное (на последнем слоге) ударение.

Впрочем, ни в Польше, ни во Франции с этой системой не связаны какие-то выдающиеся поэтические достижения.

Стоит ли удивляться тому, что для украинских просветителей силлабическая поэзия стала символом света, альфой и омегой учености и что учебники грамматики и арифметики, философии и медицины, вообще вся учебная программа новой школы была ими переложена в силлабические вирши?

Суффиксально-флексивные сочетания, кочующие из одного слова в другое, признавались в ту пору полноценными рифмами, безусловно допускались и рифмы тавтологические – поэтому работа рифмоплета была чисто механической: знай отсчитывай слоги (можно на пальцах) да не ленись выуживать из океана слов любую пару, способную совокупиться на общем суффиксе: царствоваше – бяше, сказаше – бяше, бяше – искушаше, желаше – бяше, совершил есть – ублажен был есть, монах – иеромонах, бяше – скончаше, бяше – содержаше... А если силлабические стихи, в силу своей чуждости основным законам русского языка, воспринимались труднее, чем проза, труднее даже заучивались, – что ж, тем хуже для учащихся. «Корень учения горек...»

Мы с вами вспоминали уже «Граматику» Мелетия Смотрицкого (1619 год); одна из статей этой книги носит название «О просодии стихотворной» – это серьезная попытка создать метрическую систему, пригодную для восточных славян. Но и Смотрицкому пришлось взять за образец латинский учебник, составленный иезуитом Альваром; к тому же теория стихосложения, созданная Смотрицким, оказалась головоломно-сложной, искусственной – до применения ее на практике дело так и не дошло. Многочисленные переводы польских руководств по версификации заполонили в царствование Алексея Михайловича книжный рынок, силлабическая теория победила практически без борьбы.

Знаменитейший поэт этой эпохи – Симеон Полоцкий. Белорус, выученик Киево-Могилянской академии. Ловкий царедворец, воспитатель детей Алексея Михайловича: царевича Алексея, впоследствии и царевича Федора.

Первый профессиональный писатель в России, творивший за гонорар. Драматург. Чистый западник, для которого «неученая» русская культура как бы и не существовала – настолько он презирал ее.

И вот в русской литературе – где бережно сохранялось, где существовало уже вторую сотню лет завещание Нила Сорского («Молю вас, повергните тело мое в пустыни сей, да изъедят е зверие и птица, понеже согрешило есть ко Богу и недостойно есть погребения». И дальше: «Мне потщание, елико по силе моей, что бых не сподоблен чести и славы века сего некоторые, яко же в житии сем, тако и по смерти»), – в этой литературе царствует отныне широколицый такой просветитель, который знает себе цену, имеет гигиеническую привычку списывать «по полу тетради» в день, «зело мелко и уписисто», и за жемчужины поэзии и мудрости, типа:

Земли три части мокнут под водами,
четверта токмо суха под ногами,
всех есть ходящих и разум имущих,
и зверей сущих, —

или:

Хотяй чистоту свою сохранить,
должен есть с полом противным не жити.
Сожитие бо похоть возбуждает,
девства лишает, —

или еще:

Что либо по аеру пернато летает,
того стомах лакомо во пищу желает, —

за все это прилежно взымает гонорары, имеет своих лошадей, кареты, прислугу. «Трудящийся достоин пропитания...» Имеет, главное, высокую самооценку, превосходное самочувствие – плохой знак для человека духовной жизни.

Бог с ней, с силлабической поэзией. Конечно, со временем появились в ней и более зрелые мастера – Феофан Прокопович, в первую очередь. Стефан Яворский оставил яркий след в поэзии новолатинской («Элегия к библиотеке»), но писал и польские, и русские стихи – и в последних предстает весьма незаурядным, тонким стихотворцем:

Се второй Ирод, исполнь смертна яда, —
Мазепа лютый убил мои чада.
Уподобися Россия Давиду,
Иже от сына терпяше обиду.

Но если в поэзии досиллабической главные жанры (дружеское послание, полемика по насущным и неотложным богословским вопросам) напрямую связаны с жизнью и сами стихи обслуживают жизнь, то силлабическая поэзия – это все-таки декорация, маскировочный чехол, фиговый листок, прикрывающий русскую неученость, «русский стыд». Это или поучение

какому-то предполагаемому слабоумному читателю, или стихи на случай. Случаи-то бывают разные: смерть в царской семье, крестины, измена Мазепы, Полтавская виктория, прутская катастрофа – но все они одинаково хороши как *повод*. Повод взойти на кафедру и блеснуть ученостью, к месту упомянуть о Фаэтоне, о Трое, о Давиде и Авессаломе...

Школьная поэзия, искусственная.

Какое-то действительно «нашествие иноплеменных», какие-то марсиане из романа Уэллса, ничем не связанные с народной жизнью, историей, судьбой – просветители, одним словом. Именно с них начинается грустная история русского западничества, и уж как они хлопочут, как стараются, выражаясь современным языком, «быть на уровне мировой науки» – и как безнадежно промахиваются уже в выборе цели: держат равнение на западную схоластическую науку, пораженную Декартом насмерть. Бедные, бедные просветители... Теперь на ближайшие триста лет определен их удел: гнаться за вчерашним западным просвещением, все больше отчуждаясь от своего народа и ни на шаг не приближаясь к истинному, то есть завтрашнему, западному просвещению.

А тем временем в прозе расцветает бытовая повесть, творит протопоп Аввакум – в поэзии же все застывает этот ложный блеск, все заслоняют эти бумажные цветы. Приходится определять силлабическую поэзию как псевдоморфозу русской литературы.

Интересный факт: старообрядцы, отступившие под натиском просвещения в скиты, в глухие леса, дали на исходе петровской эпохи высшие, может быть, образцы русской силлабики. В старообрядческом монастыре на реке Выге (это Олонецкая губерния) завелась при братьях Денисовых крупная книгописная мастерская, библиотека, свои школы – здесь был создан центр раскольничьего просвещения на русском Севере. А Андрей Денисов, из песни слова не выкинешь, тоже слушал в Киеве риторику и поэтику – может быть, и у самого Феофана Прокоповича. И вот в старообрядческой литературе, с ее темами конца света, наступления царства антихриста (тяжелые темы), появляются силлабические стихи.

Вот, например, изящное окончание «Рифм воспоминательных», посвященных памяти как раз старшего из братьев Денисовых, Андрея Денисова:

Тем же молим Ти ся, Боже,
Покой душу в райском ложе
Сего верного Ти раба,
Воина церковна храбра,
Течения си скончаша
И веру зело соблюдаша.
Прочее, Царю Превечный, —
Соблуди и в живот вечный.
Правды венцом венчая,
Павлов глагол скончая,
Милость показуя над ним
В безконечны веки. Аминь.

Очевидно, что к концу петровской эпохи силлабическая поэзия уже не выглядела тем, чем она была на самом деле: плодом латинского влияния на Русскую Церковь и русскую культуру, – а выглядела остатком доброй московской допетровской старины. Иначе бы старообрядцы ее не приняли.

Во всяком случае, силлабическая поэзия воцарилась всюду, ее приняли все слои русского общества.

А ее нежизненность, абсурдность и предопределили, наверное, ту легкость, с которой российское дворянство сразу же и попало в рабство к чуждому языку – французскому, к духу

его и формам. От силлабических виршей немудрено было и на край света сбежать, не то что в Париж.

Поэт, произведениями которого открывается любая антология русской поэзии, – князь Антиох Кантемир.

Константин Сергеевич Аксаков, чьи мнения всегда заслуживают внимания и уважения, отозвался о Кантемире достаточно резко: «Кантемир был острый человек – и больше ничего», – то есть фактически отказал ему в звании поэта. Но мы понимаем, что Константин Аксаков не был знаком с князем Антиохом Дмитриевичем лично (более ста лет их разделяют), и его отзыв об остроте Кантемира – это признание остроты кантемировских сатир.

Как стихотворец Кантемир целиком принадлежит переходной эпохе. В чем же его отличие от Симеона Полоцкого? Та же силлабика, то же просвещение. Разве что антиклерикализм прибавился.

Но когда Жуковский в ранней своей статье сравнивает Кантемира с Ювеналом – в этом почти не чувствуется натяжки. Это всерьез.

Кантемир прежде всего очень крупная человеческая личность. И хотя он проблуждал всю жизнь в дебрях силлабической теории, эти заросли не могли скрыть целиком его фигуру: на поверхности оставалась голова.

«*За музыкаю только дело*», – учит П. Верлен в переводе Б. Пастернака. Музыки в стихах Кантемира никакой нет, читать их трудно, но зато разбирать, изучать – наслаждение. Ведь не в одной только музыке дело! «Удивляешься и радуешься: рассчитывал на знакомство только с автором, а познакомился с человеком» – к творчеству Кантемира вполне приложимы эти замечательные слова Паскаля. «Автор» ведь принадлежит «литературе»; стремится ли он отвоевать в ней местечко для себя, для своего авторства, враждует ли с нею – в обоих этих случаях он ни о чем, кроме литературы, думать не может. А Кантемир менее всего озабочен чужими словами, чужими ритмами, чужим вдохновением – у него свои мысли, своя боль.

Кантемир в стихах очень умен и при этом – открыт, простодушен, до странности иногда откровенен. Редкое, чарующее сочетание! «Мой чистосердечный Кантемир» – так называл его Батюшков.

Язык кантемировских сатир близок к живой разговорной речи. В этом отношении Кантемир как бы продолжает начатое Наседкой, Шаховским и полностью игнорирует опыт Симеона Полоцкого. (Кстати сказать, предок Антиоха Кантемира стал молдавским господарем, свергнув с трона своего предшественника – отца Петра Могилы. Вследствие чего Петр Могила очутился в Киеве и основал там академию, в которой Симеон Полоцкий выучился писать стихи. Такая вот неожиданная тема, молдавская, зазвучала в истории русской поэзии.)

Но говорить об участии Кантемира в так называемом «литературном процессе», о влиянии его стихов на развитие русской поэзии не приходится: он писал в стол, и первое издание его сатир увидело свет в то время, когда уже весь ученый и литературный мир России признал открытия, сделанные Тредиаковским и Ломоносовым.

И успеха (тем более большого успеха, коммерческого) сочинения Кантемира никогда не имели.

Однако слова, сказанные им о своих стихах: «*Умным понравится голой правды сила*», – нередко находили себе подтверждение в прошлом, да и в настоящем иногда оправдываются.

Запомните сравнение Жуковского; внимательно прочтите хотя бы одну Пятую сатиру – я уверен, что вас это заденет всерьез.

А пока послушайте небольшой отрывок из Первой сатиры, написанной Кантемиром на двадцатом году жизни, который особенно уместно прозвучит здесь, на заседании Русского Философского Общества:

Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя.
Бесстрашно того жилья, хоть и тяжело мнится,
Кто в тихом своем углу молчалив таится;
Коли что дала ти знать мудрость всеблагая,
Весели тайно себя, в себе рассуждая
Пользу наук...

Первые годы после смерти Петра I, вообще говоря, ужасны. Извержение вулкана закончилось, огонь потух, взгляд созерцает только следы разрушений. Пованивает гарью.

Литература в параличе. Русский язык, еще недавно столь мощный и гибкий у Аввакума, теперь представляет собой уродливое и жалкое зрелище: на треть это варваризмы, на треть – площадная и рыночная лексика, на треть – церковно-славянские слова, которые в подобной компании выглядят на редкость нелепо.

В это-то время в Париже обучавшийся там наукам юноша Третьяковский возвращается мыслями к оставленной на время России, тоскует по ней, смущается духом, берет перо, чернильницу, начинает:

Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны:
Ибо все днесь мне ее доброты
Мыслить умом есть много охоты.

Как сказал в нашем веке поэт Ходасевич:

В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.

Ходасевич имел в виду снеговые холмы Фрейберга, на которые русская камена взошла в 1739 году, по случаю написания Ломоносовым оды на взятие Хотина, – мы можем утверждать, не рискуя грубо ошибиться, что первое ее явление было одиннадцатью годами раньше, что взошла она на парижские снеговые холмы и оттуда подала дивный голос латинским сестрам, сказав:

Виват Россия! виват драгая!
Виват надежда! виват благая!
.....

О благородстве твоём высоком
Кто бы не ведал в свете широком?

.....
Твои все люди суть православны

И храбростию повсюду славны;
Чада достойны таковой матери,
Везде готовы за тебя стати.

Чем ты, Россия, неизобильна!
Где ты, Россия, не была сильна?

.....
Сто мне языков надобно б было

Прославить все то, что в тебе мило!

Среди любителей русской поэзии репутация Третьяковского никогда не была высока, все знают «*Стоит древесна к стене примкнута...*», многие читали роман Лажечникова «Ледяной дом», в котором поэт наш изображен в самом непривлекательном виде. Крупицей подлинного поэтического таланта Третьяковский обладал, но действительно это был человек незнатный, попавший в то жестокое время в высший круг и не всегда умевший сохранить в нем свое достоинство. Приема такого, знаете, жеста – у него вообще не было. Парвеню, разночинец. К тому же еще и педант законченный.

Письма Третьяковского читать тяжело. То он упоен свыше меры успехом своей (то есть, конечно, тальмановской) «Езды в остров любви» и незящно так пыжится, то унижается – и тоже сверх меры, тоже некартинно.

Впрочем, это все внешние какие-то особенности, внешние черты характера, которые могли бы огорчать жену Василия Кирилловича и до которых посторонним людям, в сущности, не должно быть дела. А личность Третьяковского как теоретика литературы, как ученого – личность выдающаяся, достойная вечной памяти и уважения.

1735 год – год издания его трактата «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» – одна из ключевых дат в истории нашей литературы.

Третьяковский почувствовал, что некоторые русские силлабические вирши не так плохи, как положено им быть, – и именно из-за того, что русские сочинители то и дело отступают невольно от польских правил, увлекаемые внутренней логикой родного языка.

И вот он совершает свой подвиг: провозглашает и обосновывает тонический принцип стихосложения, вводит понятие «стопы» (и предлагает мерить стих стопами, а не слогами), предлагает вполне удовлетворительные образцы новой поэзии.

В январе 1736 года Ломоносов на последние гроши покупает эту книгу и бережно, *ревниво* (по счастливому выражению А. Морозова) увозит ее с собой за границу.

Вот слова из трактата «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», достойные особенного внимания и сочувствия:

«Всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойства, нашему стиху приличного; и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела».

(Лишний раз подтверждается мысль К. Аксакова: «Источник внутренней силы и жизни и, наконец, мысль всей страны пребывают в простом народе». Мы можем что-то совершить на поприще личной деятельности, личного сознания только тогда, когда между нами и народом нашим есть «непрерывная живая связь и взаимное понимание»).

Но гением Третьяковский не был. Предмет, на котором он споткнулся, это тот именно предмет, о который всегда претякаются обыкновенные люди. Этот предмет – мода.

В моде был одиннадцатисложный стих, и, естественно, Василий Кириллович рассчитал свою систему под одиннадцатисложник. И вышло, что, делая ударение на последнем слоге перед цезурой (на седьмом), правильного чередования стоп можно добиться, только применяя хорей. И, стало быть, русское стихосложение должно быть обязательно двухстопным и почти исключительно хореическим.

Двигаясь в обратном направлении, получим: русское стихосложение должно быть хорическим для того, чтобы получался одиннадцатисложник. А для чего обязательно одиннадцатисложник? Такие вопросы человеку обыкновенному в голову не приходят.

По сути дела, Третьяковский, как некий трудолюбивый крот, прорыл совершенно непроницаемую плотину – первым, от начала и до конца – и почил на лаврах, оставив вполне бессмысленную перегородку, которую богатырь Ломоносов вышиб шутя, одним ударом ноги.

И поэзия хлынула.

«Письмо о правилах российского стихотворства», написанное Ломоносовым в том же тридцать девятом году, что и ода на взятие Хотина, воспринимается сегодня как бескровная, полная, окончательная победа молодого гения над педантом.

Ломоносов беспощаден к польскому, киево-могилянскому наследству; силлабика осточертела ему еще в академии, и он, указав на нищету польской версификации, которая, в силу коренных особенностей языка, может опираться на женскую только рифму, спрашивает: а зачем нам-то «самовольно нищету терпеть и только одними женскими побрякивать, а мужских бодрость и силу, тригласных устремление и высоту оставить»?

В противовес хорее Ломоносов выдвигает ямб. И в увлечении приписывает этой стопе – самой по себе – благородство, высоту, величие; за хореем же навеки закрепляются нежность, сладость – хорей признается годным только для элегии.

В 1743 году происходит любопытное состязание поэтов: Ломоносов, Третьяковский и Сумароков издают отдельной книжечкой свои переводы 143-го псалма, без подписей, – читателю предоставлялась возможность, не зная имени мастера, оценить само мастерство.

В предисловии Третьяковский пишет, ставя последнюю точку в споре: «Некоторая из стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности, но что все сие зависит токмо от изображений, которые стихотворец употребляет в свое сочинение».

Трудолюбивый крот возвратился ко входу, пробитому счастливым соперником, отдал его, украсил, прибрал мусор – «сдал под ключ».

Значение Ломоносова огромно в истории нашей литературы. Его итоговая филологическая работа «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», содержащая теорию трех стилей, и является ответом на давний, до сих пор многих мучающий вопрос: кто же все-таки создал русский литературный язык – Карамзин с Жуковским или Пушкин? Создал его, конечно же, Ломоносов. Мы помним, каково было состояние литературного языка в конце петровской эпохи, – именно Ломоносов расчистил эти конюшни. Остальные уже занимались благоустройством.

Но сегодня мы с вами говорим о поэзии.

В чем же тут исключительная заслуга Ломоносова?

Аксаков, опять Константин Аксаков, пишет: «Немного таких стихов, в которых каждое слово требует внимания и подает раздельно свой голос». Такое слово «не только извне, по смыслу своему становится в стих, но и как слово прекрасно в нем является».

Это именно то, что в эстетике классицизма называется изящным языком. Создание изящного языка, языка русской классической поэзии, и есть заслуга Ломоносова.

Вспомните библейскую его оду:

Кто море удержал брегами
И бездне положил предел,
И ей свирепыми волнами
Стремиться дал не велел, —

между этими стихами и ямбами «Онегина», «Полтавы», «Медного всадника» нет принципиальной разницы, они написаны на одном языке.

Константин Аксаков заканчивает: «Язык, становясь изящным, утверждает свои формы; они не распадаются, не уносятся потоком жизни, они повторяются».

Не Бог вещь что с точки зрения вечности, но для Земли – довольно много. На эту тему Ахматова изящно рефлексировала:

Всего прочнее на земле – печаль
И долговечней – царственное слово.

Становясь изящным, язык делает долговечными состояния души, в которых находился во время работы писатель, этим языком владеющий. Мельчайшие оттенки мысли и чувства, иногда даже физические ощущения – все это может быть закреплено на бумаге в счастливую минуту. И через сотни лет тонко чувствующий читатель сможет входить в те же мысли и чувства, переживать те же ощущения.

Не следует только думать, что внутренний мир русских людей, живших до Ломоносова, был беднее нашего с вами внутреннего мира. В разные века нашей истории творческий гений нации проявлял себя по-разному. Древняя Русь не знала Пушкина и Тютчева, но ведь и мы, зная Дионисия, можем только восхищаться чистой, изысканной гармонией его живописи – повторить за Дионисием мы не можем.

Вообще, плох ли, хорош ли внутренний мир русского человека XIX века – это тема отдельная. Но он сохраняется, он закреплен особым образом в памятниках классической русской поэзии, язык которой создан Ломоносовым, и будет сохраняться еще долго.

А был ли поэтом сам Ломоносов?

Разумеется, нет. Ломоносов больше, чем поэт. Или, может быть, меньше – поэзия не была главным делом в его жизни. Великолепно презрение, с которым он говорит о Сумарокове – об этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмачестве, не думает!

«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Сердце Ломоносова принадлежало и принадлежит России, не поэзии.

В заключение сегодняшнего чтения скажем о Сумарокове несколько слов.

Сегодня у всех Мандельштам на уме и на языке, так что, вспоминая Сумарокова, вспоминают:

...жалкий Сумароков пролепетал заученную роль, —

хотя абсолютно ничего жалкого в Сумарокове нет. Это был сильный боец в жизни и в литературе.

Человек хорошей фамилии, получивший хорошее образование, принятый как равный в лучшем обществе, «законодатель мод, специалист бесед», директор Императорского театра, да просто – счастливый человек, вовремя родившийся: год смерти Людовика XIV стал годом его рождения, Сумароков и век Просвещения – ровесники.

На его глазах менялся мир. Вольтер выступил со своей проповедью, и его сочинения распространялись по Великой Русской равнине, не встречая препятствий в естественном ландшафте. В атмосфере интеллектуального брожения и суматохи самолюбивый, пылкий, раздражительный Сумароков сумел очень долго продержаться на первых ролях. «Он был Вольтеру друг, честь Росския страны», по слову Василия Майкова.

Ломоносов был великий человек, Тредиаковский – ученый человек и великий труженик. Сумароков, враждовавший с ними обоими, был человек блестящий – остроумный, ярко талантливый – и, бесспорно, первый писатель своего времени. Ученость Ломоносова и Треди-

аковского поднимала их высоко над общим кругом поверхностно образованных дворян: человек общества мог при желании многому у них научиться, мог и презирать их за неотесанность, высмеивать их «надутость» и педантизм – он только не мог с ними запросто *беседовать*. А Сумароков сам был человек общества, и его творчество «следило за модой», чутко отзывалось на малейшие изменения понятий, настроений, вкусов, находило для них, а нередко и заново создавало эквиваленты в литературном языке. Именно этим объясняются известные слова Пушкина: «Сумароков лучше знал русский язык нежели Ломоносов».

В настоящее время о Сумарокове можно говорить все, что угодно («жалкий Сумароков пролепетал»), но задевать его при жизни было опасно. Живой Сумароков резался, как бритва.

Приведу характерный образчик сумароковской колкости. Академия наук (чьи интересы защищал в том деле Ломоносов) предъявила ему однажды денежный счет. Сумароков вынужден был вступить в переписку с Государственной Штатс-Канцелярией. И вот какой забавной выходкой по адресу Ломоносова заканчивается его официальное «доношение»:

«А что он не в полном разуме, в том я свидетельствуюсь сочиненною им Риторикою и Грамматикою».

Сумароков пережил свою славу. Любой церковный человек объяснит вам, что это добрый знак. Бог, значит, не отвернулся от Сумарокова, не оставил его упиваться мишурными успехами – до конца, но дал ему возможность почувствовать, вернуться к себе, подготовиться к смерти. Не нам судить о том, как распорядился этим временем Александр Петрович.

На посторонний взгляд, он быстро опускался. Овдовев, женился вторым браком на своей крепостной. Умерла и эта вторая жена – осталась ее племянница. Сумароков женится на племяннице: «Нельзя, чтоб пропала пенсия». Дерзит самой Екатерине, и та по-женски так сердится, но в общем терпит – по старой дружбе. К месту и не к месту хвастается письмом Вольтера, в котором литературным трудам Сумарокова дается самая высокая оценка, – правда, Вольтер тут же и прибавляет, в свойственной ему манере, что по-русски не знает ни слова, – и умный Сумароков этой оговорки не замечает... Родная мать подает на него официальную жалобу императрице, императрица раздраженно ворчит: «Сумароков без ума есть и будет»; друг-приятель Демидов начинает оттягивать у него дом – последнее достояние, если не считать той пенсии, которую скоро получит вдова действительного статского советника Сумарокова, – а пока что действительный статский советник выходит из своего дома в домашнем платье и идет не спеша через площадь в трактир выпить водки... Продажу дома с аукциона Сумароков пережил только двумя днями.

Все это трогательно, пронзительно, натурально. Перед нами все тот же «писатель-боец, входивший в борьбу с жизнью на площади, на открытом поле» (слова Вяземского о Сумарокове), но боец состарившийся и жизнью наконец побежденный.

И пусть сегодня стихи Сумарокова не трогают нас и не пронзают, и мы готовы согласиться с Петром Александровичем Плетневым, который считал, что Сумароков был всего лишь «неутомимый говорун и пересказчик» в поэзии. Пусть так. Но заслуги Сумарокова перед русской словесностью помнить необходимо. Дворянин, сын петровского генерала стал профессиональным писателем – такое случилось впервые. И именно Сумароков приучил образованное общество уважать звание литератора.

«Я на войне не бывал и, может быть, и не буду, и столько же тружуся и в мирное время... Мои упражнения ни со придворными, ни со штатскими ни малейшего сходства не имеют, а труды мои ничьих не меньше, и некоторую пользу приносят... люди во вкус приводятся... Мне Россия за мои трагедии должна благодарить» – эти декларации Сумарокова взяты из его писем к Шувалову, Потемкину, Екатерине. И это не оппозиция. Именно таков дух времени, дух екатерининских указов. Царь и поэт действуют заодно, общество «во вкус приводится».

Совместными усилиями устанавливается чрезвычайно высокий общественный статус поэзии. Расцвет ее становится делом недалекого будущего.

1993

Чтение 2

Мы с вами остановились в прошлый раз на событии печальном, хотя и естественном – на смерти Александра Петровича Сумарокова, которая последовала в 1777 году. Это середина царствования Екатерины II. Время, ознаменованное стремительным ростом русского могущества и военной славы. Ростом авторитета России как мировой державы.

В известной «Французской энциклопедии» Д’Аламбера и Дидро есть статья, посвященная России (14-й том, вышедший из печати в 1765 году). Статья несколько не устарела, русский читатель и сегодня почерпнет из нее много интересных, новых сведений о своей родине.

Так, впервые узнает он с том, что христианство ввела у нас в конце X века княгиня Ольга. «Женщины, – пишет Жокур, автор статьи, – более чувствительные к увещаниям служителей религии, обращают затем и прочих людей». Впрочем, «русская церковь была столь малообразованна, что брат Петра Великого царь Федор был первым, кто ввел в ней церковное пение».

Слово «царь», кстати сказать, произошло от «цар» или «тхар» Казанского царства; когда русский государь Иоанн (правильнее – Иван Базилид) победил это царство, он взял его титул.

Излюбленным кушаньем русских (то есть до Петра Великого) были лишь огурцы и астраханские арбузы, которые летом они варили с водой, мукой и солью. Для царской женитьбы привозили ко двору из провинции самых красивых девушек. Были четыре примера подобных свадеб. С того времени русские женщины стали румяниться, подрисовывать брови или наклеивать искусственные; таким образом, у этого народа варварство стало исчезать, и потому Петру не нужно было много трудиться над просвещением нации. В царствование Петра русский народ стал цивилизованным, торговым, любознательным в искусствах и науках, ценителем театра и новых изобретений. Совершивший эти перемены великий человек счастливо родился в благоприятное для этого время – и так далее и тому подобное.

Думается, что «острый галльский смысл» вполне обнаружил себя в той части статьи, которую мы успели просмотреть, – но интересно другое. Мы увидели, что в 1765 году вот этой проблемы, вечной проблемы «Россия и Запад», – ее как бы и не существует. Авангард прогрессивного человечества («сок умной молодежи», по более счастливому выражению Репетилова) – энциклопедисты весьма и весьма доброжелательно относятся к России. По их мнению, страна сумела сделать правильный выбор – сурьма, румяна и Великий Человек вывели ее на столбовую дорожку цивилизации, в то время как во Франции милой не все обстоит благополучно: имеется тиран, Людовик XV, кое-где поднимает голову религиозный фанатизм. Сам Вольтер стал жертвой этого фанатизма и этой тирании – почти год целый просидел в Бастилии, в то время как из России ему шлют приглашения и подарки, теплые шубы шлют...

В 1765 году Россия чем-то милее французским просветителям, чем даже собственное отечество.

Что же произошло между 1765 годом и годом 1831, когда Пушкин спокойно и квалифицированно оценил отношение Запада к России одной строкой: «И ненавидите вы нас»? Вот ближайшие два-три чтения и должны нас подготовить к ответу на этот важный вопрос. Если же ответ не отыщется, тогда нам, пожалуй, не стоит и начинать разговора о Золотом веке русской поэзии. Тогда нам лучше возвратиться к старым, испытанным формулам: «звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений», «декабристы разбудили Герцена», «лучше быть неудачником в демократии, чем мучеником в деспотии».

Но пока – пока мы видим, что оптимизм лучших людей реформы, вот это намерение, о котором мы говорили на прошлом чтении: позаимствовать у Запада его боевые хитрости и ими отстоять веру (от его же натиска), – пока это оправдывается. По крайней мере, в первой своей части.

А как обстоит дело со второй частью? Что вера? Каково положение Церкви? Попытаемся под этим углом взглянуть на реформу и проследить ее ход.

Петр I – личность, которую невозможно (да и не нужно) идеализировать. Упразднение патриаршества, чудовищный Духовный регламент, оскорбление религиозных чувств народа, растянувшееся на десятилетия, – всего этого уже не вычеркнешь из истории Церкви.

Дисциплина – под таким знаком проходила эпоха Петра, и Церковь как организация была подчинена дисциплине, была поставлена на службу государству, как все в государстве. Церковь как организация пострадала, безусловно; но Церковь не есть просто организация, до поры до времени существующая наряду с другими какими-то организациями. Церковь Христову погубить вообще нельзя: так, в рассматриваемую нами эпоху симпатия к протестантизму царя-рационалиста и латинская ориентация высших иерархов Церкви ослабили, обезвредили одна другую, и Церковь устояла. Но и Петр не Венадад, не Сеннахирим – не сильный враг, одним словом, которому вот только Бог не позволил разрушить Свою Церковь.

Вспомним столкновение Петра со святителем Митрофаном, епископом Воронежским, Царь пригласил епископа к себе, а тот отказался прийти, поскольку воронежский дом Петра I был украшен снаружи изображениями языческих богов. Царь приходит в ярость и угрожает епископу смертью. Епископ отвечает: «Лучше умереть, чем присутствием своим или боязливым молчанием одобрять язычество. Неприлично государю православному ставить болваны и тем соблазнять простые сердца народа», – и начинает готовиться к смерти. Царь, услышав благовест в неурочное время, посылает узнать, что случилось. Ему сообщают: «Епископ собирается напутствоваться ко смерти». Царь приказывает снять статуи.

Когда святитель с миром отходит ко Господу, царь спешит на его погребение, боится опоздать... Сам участвует в переносе тела в усыпальницу.

Сохранились слова, сказанные Петром при прощании: «Не осталось у меня такого святого старца, буди ему вечная память».

И. А. Ильин писал: «Есть мера страстных эксцессов царя, – не подрывающая доверия к нему», – и считал, что Петр I эту меру не перешел. Не превысил. В поступках Петра – страшных поступках, жутких, вызванных болезненной нетерпеливостью, неуравновешенностью, грубостью натуры, не было, однако, ничего бесчестного, лживого, подлого, своекорыстного (это все еще мысль Ильина), и народ, скорбя или негодуя, продолжал все-таки доверять такому Царю в главном.

Выжив при Петре, Церковь смогла отдохнуть в царствование его дочери.

Елизавета Петровна чтит память своего великого отца; в то же время она, по выражению Е. Поселянина (известного писателя и историка Церкви, расстрелянного у нас в Ленинграде в начале 30-х годов), была «предана Церкви, всем ее обрядам, как любая боярышня московской Руси». Поэтому при Елизавете все шло более или менее по-старому: заводила ли она Московский университет, посещала ли Василия Болящего (был такой юродивый на Арбате) – и в том и в другом случае она следовала традиции. «Не нами заведено, не нами и кончится».

На вершину могущества и славы Россия поднялась в царствование Екатерины II – Екатерины Великой. Права ее на этот титул не должны подвергаться сомнению, дар правительницы был у нее, безусловно, от Бога; самые ее недостатки шли на пользу делу управления.

Имея многие слабости, о которых незачем здесь распространяться, Екатерина могла понять и простить слабость подданного (чего не было у железного Петра) – она была чело-вечна. За это ее любили и нередко делали для нее невозможное, «небывалое». Идеалист Петр не щадил для Отечества своей жизни, того же ждал от других – и снова и снова разочаровывался в людях. Ближайшие сотрудники обманывали его на каждом шагу, стоило только Петру на секунду отвернуться. Практичная Екатерина придерживалась принципа: «Живи – и жить

давай другим», разочаровываться в своих сотрудниках ей никогда не приходилось. (Это они в ней иногда разочаровывались, но потом, после окончания своей миссии).

Екатерина настолько была умна, что и людей, обладавших высокими нравственными принципами (святой Тихон Задонский, Румянцев, Суворов, Дашкова, Державин и другие), умела привлечь на свою сторону и использовать их энергию на пользу своему «маленькому хозяйству». Чужое здоровье не вызывало у нее головной боли – редкое, похвальное качество! Можно предположить, что непрактичность вышеназванных славян вызывала у бывшей принцессы Ангальт-Цербтской легкую усмешку, которая и спасала ее от зависти.

Екатерина не погрешала против внешнего благочестия (в отличие от Петра), уважала религиозные чувства простого народа и – также в отличие от Петра – вовсе, кажется, не верила в Бога. Церковная политика Екатерины заключалась в том, чтобы «растворить духовенство в среднем слое людей», оттеснить его на задворки социальной жизни.

Вы помните, конечно, страстный призыв Вольтера: «Раздавите гадину!» Впрочем, в минуты мирного расположения духа тот же Вольтер признавал, что для простонародья церковь долго еще будет полезна, и поэтому «если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать». Вот эти два тезиса и были, пожалуй, положены в основание церковной политики Екатерины. «И бога выдумать, и гадину раздавить».

Совсем не случайно «Наказ» Екатерины подвергся цензурному запрещению в Англии и во Франции. То, что в самой Франции было остроумной теорией, кабинетной выдумкой горстки энциклопедистов, в России становилось правительственной программой.

Верная ученица французских просветителей, Екатерина в 1764 году наносит страшный удар просвещению народа русского. В тот год были введены штаты: императрица одним росчерком пера уничтожила 754 монастыря. От общего их числа сохранилась после указа только пятая часть.

Эта мера принесла государству три миллиона рублей в год. Не так уж мало, ведь годовой доход Российской короны составлял к началу 60-х годов не более тринадцати миллионов (по оценке той же «Французской энциклопедии», которой в таких вопросах доверять, я думаю, можно).

А что отняла у государства эта мера? Тоже немало.

Монастырь в России – с XI века и до настоящего времени – это и есть русский университет. Традиции, культура, народное образование, национальное самосознание – все тут. Зарождение любой обители, ее рост или упадок – процесс органический и таинственный. Вторгаться в эту область извне, пытаться «улучшить монастырское дело» с помощью грубых административных мер... Ну, это было очень самонадеянно.

А вот и другая сторона вопроса. Монастырская собственность складывается веками и состоит большей частью из добровольных вкладов, из пожертвований самых разных людей – на помин души. С упразднением монастыря, естественно, прекращается и поминание. То есть вот этим своим знаменитым росчерком пера русская императрица, «крайний судия Духовной Коллегии», нарушила последнюю волю неимоверного числа русских православных людей.

Век Просвещения. Императрица управляет государством, а ею управляет Разум, освобожденный от пут суеверия. Что такое «последняя воля»? – На хлеб ее не намажешь. А три миллиона в год – деньги хорошие.

Однако не все люди способны подняться до уровня лучших умов своей эпохи и дышать разреженным воздухом горных вершин. Ростовский митрополит Арсений (Мациевич) в Неделю Православия, когда предаются анафеме враги Церкви, кое-что изменил и добавил от себя в тексте анафематизмов. Там, где в обычном чинопоследовании стояло: «Вси насильствующие и обидящие св. Божии церкви и монастыри, отнимающе у них данная тем села и винограды...» – мятежной рукой Ростовского владыки было добавлено: «...и через то воплощения Христова дело и бескровную жертву истребляющий». Еще и другие два добавления (но

менее важные, менее антиправительственные) были им сделаны и возглашены с амвона в феврале 1763 года. Спустя девять лет бывший митрополит Арсений умер в каземате Ревельской крепости, где содержался под чужим именем – наподобие Железной Маски.

«Раздавите гадину» – это ведь общее положение. В одном случае под каблук прогресса могла попасться гадина Мациевич, во втором или третьем – другие какие-то гадины. Наполеон раздавил гадину Пия VI-го. Особенно много гадин скопилось во Франции к началу революции: не хватало ног, чтобы давить их. Человеческий разум справился и с этой задачей: священников грузили на баржи, потом топили эти баржи в Луаре, в Сене.

За год до смерти Андрея Вралья (бывшего митрополита Арсения) в литературе произошло событие, отмеченное во многих учебниках: Михаил Матвеевич Херасков написал поэму «Чесмесский бой», повествующую о трогательной дружбе братьев Орловых, Алексея и Федора, разворачивающейся на фоне знаменитого морского сражения, – и тем самым положил начало сентиментализму в русской поэзии.

Наверное, вы почувствовали сейчас некоторый диссонанс, несоответствие между важным, трагическим содержанием, которым наполнена русская жизнь XVIII столетия, и содержанием литературы. Там – сотрясаются основы народной жизни, своды вселенной колеблются, здесь – в пробырочке что-то изготавливается для будущих филологов...

Розанов, оценивая русскую литературу XVIII века в целом, писал, что это была не литература, а так – «помощь правительству». Давая эту примечательную характеристику, Розанов вовсе не имел в виду какую-то сервильность, лакейскую услужливость литературы. Нет. Но мир середины XVIII века вообще черно-белого цвета: черное – невежество и суеверия, белое – человеческий разум. Просветительская философия разработала теорию просвещенного абсолютизма, выдвинула идеал просвещенного монарха, и вот литература помогает правительству приблизиться к идеалу: *«истину царям с улыбкой говорит»*, подсказывает невыученный урок бедняге царю, тупице и двоечнику. Понятно, что если какой-нибудь конкретный правитель на волосок отступил от теоретического идеала, то это уже не просвещенный монарх, а тиран, которого всякий подданный может зарезать, не испытывая угрызений совести.

И уничтожение 80 % русских монастырей, с точки зрения интеллектуальной элиты того времени, мера настолько оправданная, необходимая и выстраданная, что можно только сказать правительству «мерси» и дальше, дальше – ориентировать его на новые цели, подталкивать к новым свершениям.

За пять лет до введения штатов, во время затяжной и кровопролитной войны, которую Россия вела против Пруссии Фридриха Великого, Сумароков переводит басню Лафонтена «Отрекшаяся мира мышь»:

Затворник был у них

(т. е. у мышей, которые воюют с лягушками. – Н. К.)

и жил в голландском сыре;
Ничто из светского ему на ум нейдет;
Оставил навсегда он роскоши и свет.
Пришли к нему две мышки
И просят, ежели какие есть излишки
В имении его,
Чтоб подал им хотя немного из того,
И говорили: «Мы готовимся ко брани».
Он им отвечивал, поднявши к сердцу длани:

«Мне дела нет ни до чего.
Какия от меня, друзья, вы ждете дани?»
И как он так проговорил,
Вздыхнул и двери затворил.

Здесь мы впервые сталкиваемся с явлением, которое впоследствии, в России Советской, получило наименование *сигнала*. Елизавета Петровна не пожелала прислушаться к сигналу Сумарокова, и через три года уже Ломоносов принимается переводить ту же басню, сигнализируя новому правительству о неблагополучии в церковных делах:

Мышь некогда, любя святыню,
Оставила прелестный мир,
Ушла в глубокую пустыню,
Засевшись вся в голландский сыр...

Ломоносов – сын своего века. Ломоносов тоже просветитель. Он патриот, безусловно, но Россия его од – это уж никак не Святая Русь, а что-то скорее географическое, с просторами, недрами и минералами, с трудолюбивым и талантливым населением, которое со временем неизбежно народит собственных Платонов и Ньютонов, быстрых разумом.

(А интересно, что почувствовал бы Ломоносов, если бы какой-нибудь Хромой Бес, выскочив из склянки во время очередного химического опыта, показал ему будущее – показал первого русского, в котором западный мир признал ровню другим мировым гениям, – и Ломоносов увидел бы бородатого Льва Толстого, шьющего себе сапоги и весь мир зовущего к опрошению, к ручному труду... Наверное, удивился бы Михайло Васильевич.)

Ломоносов и Сумароков, враждовавшие во всем, в жизни и в поэзии, неожиданно оказываются союзниками в делах более важных, чем поэзия или частная жизнь.

Но об этой вражде скажем все-таки несколько слов отдельно, она того заслуживает.

Михаил Дмитриев рассказывает (по семейным преданиям) следующее: «Ломоносов, как ученый, занятый делом, как человек серьезный, а притом не богатый и не дворянского рода, не принадлежал к большому кругу, как Сумароков. Ломоносов был неподатлив на знакомства и не имел нисколько той живости, которою отличался Сумароков и которою тем более надоедал он Ломоносову, что тот был не скор на ответы, Ломоносов был на них иногда довольно резок, но эта резкость сопровождалась грубостью; а Сумароков был дерзок, но остер: выигрыш был на стороне последнего! Иногда, говорил мой дед, их нарочно сводили и приглашали на обеды, особенно тогдашние вельможи, с тем, чтобы сстроить их».

Достаточно серьезный конфликт, как мы видим: человек глубокий, напряженно думающий об общем благе, заглядывающий вперед на сто, на двести лет, и человек тонкий, старающийся быстротечную минуту закрепить и возвести в перл бытия, совершенно искренне презирают один другого. Культура и этика – так называется эта проблема на современном жаргоне. Разлучение их, рождение некультурной этики и бессовестной культуры есть неизбежное следствие секуляризации.

Что происходит у нас сегодня на каждом углу? Вот честный патриот поднимается на трибуну и начинает говорить, например, о вреде пьянства, говорит пламенно и бессвязно, предлагает какие-то меры для решения этой наболевшей социальной проблемы – достаточно дубовые, – а среди слушателей с тонкой улыбкой на устах стоит эрудит, мастер художественного слова, и в уме готовит пародию на выступление честного патриота. Профессионализм пересмешника связан со «стремлением ко благу» патриота, зависит от него, питается его эмоциями, но полученную энергию использует для разрушения.

Эрудит из нашего примера не заслуживает серьезного разговора (бессодержательность – недостаток, от которого почти невозможно избавиться), но и патриоту следовало бы принять к сведению чеканную формулу Гегеля: «Форма столь же существенна для сущности, как сущность для себя самой». Недостаточно пылать, обожать, негодовать, нужно быть в Церкви. Церковная дисциплина строга, церковная культура неимоверно сложна, но если вы справитесь с этим и войдете в Церковь, то ваши прекрасные чувства обретут разделение, ваша любовь к отечеству принесет сочный плод. А метать сомнительного достоинства бисер перед несомненными свиньями – занятие пустое.

Русский человек XVIII столетия еще связан пуповиной с матерью-Церковью, но первые плоды насаждаемого сверху расцерковления уже созрели. Государственный ум Ломоносова видит в монастыре главным образом помеху деторождению (Россия же мало населена, и детей надо бы побольше); образцовый вкус Сумарокова не оскорбляется подобной прямолинейностью. Сумарокову претят только «ученость» и «надутость» Ломоносова, смешного своей простонародной серьезностью и чином коллежского советника, полученным за какие-то химические опыты, – в то время как Сумароков был естествен, прост и был действительный статский советник. А на его трагедию «Синав» имелся официальный похвальный отзыв Французской академии.

Закончим на этом разговор о Ломоносове и Сумарокове. Поговорим о их учениках.

Любимым учеником Ломоносова был Николай Поповский, один из талантливейших людей своего времени, ставший в двадцать шесть лет профессором Московского университета. В истории литературы имя Поповского сохранилось главным образом благодаря переводу «Опыта о человеке» Александра Поупа. Этот перевод выдержал пять изданий в XVIII веке и имел солидный, прочный успех – успех у серьезного читателя, который покупает книгу не для того, чтобы быть «на уровне» или «в курсе», а чтобы проверить свои жизненные правила и, если удастся, улучшить их. Спустя сто лет герои Лескова – чудаки, «русские праведники» – помнят еще перевод Поповского, иногда и наизусть. Это произведение, что называется, пошло в почву.

Познай, что все добро, которым человек
Здесь может в временный сей наслаждаться век,
Все то, что Сам Творец и щедрая природа
Приготовили к веселию народа,
Все те приятности, что мысли веселят,
Все сладости в сих трех вещах лишь состоят:
В потребах жития, во здравии телесном,
Потом в спокойствии надежном и нелестном...

Здоровая, бодрая, достаточно примитивная философия английского просветительства, сумевшего избежать некоторых крайностей, запятнавших континентальную его разновидность. К. Леонтьев писал по этому поводу: «Атеистически-либеральное движение умов началось в Англии, но общечеловеческий вред причинило это направление только через посредство Франции XVIII века».

Кроме Поупа, Поповский переводил Горация (и осуществил, с помощью Ломоносова, первый русский стихотворный перевод «Искусства поэзии» – на двадцать втором году жизни), писал и оригинальные поэтические произведения в наиболее ответственном в то время жанре похвальной оды. Но в целом поэтическое наследие Поповского невелико: до тридцатилетнего возраста ему приходилось разрываться между научной и педагогической деятельностью,

выкраивая для поэзии крохи свободного времени, – а там смерть положила конец всем его трудам.

Иван Семенович Барков – очень колоритная личность, тоже сын священника (как и Поповский), тоже в какой-то степени ученик Ломоносова. Именно по просьбе Ломоносова шестнадцатилетний Барков был зачислен в Академический университет; Барков и потом бывал у «российского Пиндара» в доме: Ломоносов давал ему заработать перепиской. Случайно или нет, но бесконечные кутежи перестали сходить Баркову с рук именно после смерти Ломоносова – из академии, где он имел должность и твердый оклад, Барков был сразу же уволен и через два года умер, тридцати шести лет от роду. Чем он жил эти два года, отчего и как умер – неизвестно.

Барков один, но в нескольких лицах. Он и филолог, публикатор (именно Баркову было доверено первое издание сатир Кантемира, осуществленное в 1762 году, а увольнение прервало его работу над подготовкой к печати «Повести временных лет»), он же и переводчик, академический переводчик, создавший русскую версию басен Федра и сатир Горация; наконец, Барков – это «Барков», то есть поэт-порнограф, именно в этом качестве приобретший всероссийскую известность.

Нужно заметить, что «Барков» – имя собирательное, что сочинения, имеющие хождение под этим именем, написаны большей частью в XIX веке, и вот наш Барков, Иван Семенович, их не писал. Он умер в 1768 году, во времена еще патриархальные, простодушные; всего шесть лет прошло после появления указа о вольности дворянства – и особенной изошренности в этом вопросе достигнуто не было. Не успели.

Барков писал пародии – на Сумарокова, в первую очередь, – и излюбленный его прием заключался в следующем. Сочинялась элегия (идиллия, ода), отвечавшая самым строгим требованиям тогдашних образованности и вкуса, но в которой на месте лирического героя выступала, скажем так, определенная его часть. И когда какая-нибудь такая часть, специфически мужская, начинала жаловаться на разлуку, а часть женская заводила в ответ: «*Не грусти, мой свет, мне грустно и самой, // Что давно я не видалася с тобой*», – ну, современники очень веселились.

Пародирование серьезных литературных жанров, их перелицовка – это то, что всегда происходит в литературе, достигшей известной степени зрелости; успех пародии свидетельствует о прочности той литературной системы, внутри которой пародия поселилась.

Пародия смешит до тех пор, пока в читательском восприятии жив ее «второй план», и сегодня подлинный Барков никому не интересен, поскольку сегодняшнему интеллигенту, воспитанному на Высоцком и Макаревиче, неизвестны трагедии «Семира», «Тамира и Селим», классическая ода ломоносовского стиля, сумароковская элегия... Современный интеллигент недостаточно образован для того, чтобы понимать Баркова.

А виноват ли Барков в том, что его имя, в котором есть все же что-то симпатичное для русского слуха, черт использовал для циклизации чужих порнографических сочинений?

Наверное, виноват. Благодаря этому имени, жидкая грязь получила привлекательную фабричную обертку, а главное – появился *прецедент*, дающий возможность пакостить открыто и безнаказанно, со ссылкой на академическую традицию... Порнография, когда это всерьез, одно из самых тяжелых и нудных занятий на свете; Барков, который в жизни был человеком веселым и легким, бессребреником, симпатичным неудачником, после смерти оказался запряжен во вражью работу и послужил началом, по видимости противоположным основным чертам своей натуры. Бывает и такое. «На грех мастера нет».

Баратынский в одном из последних своих созданий выразился очень проникновенно (хотя и трудно было бы, я думаю, назвать отца церкви, у которого Баратынский почерпнул эту мысль, – сам, наверное, выдумал):

Велик Господь! Он милосерд, но прав.
Нет на земле ничтожного мгновенья.
Прощает Он безумию забав,
Но никогда – пирам злоумышленья.

Как будто бы нарочно про Ивана Семеновича Баркова написано: никаких «пиров злоумышленья» в его жизни не было, зато уж «безумия забав»...

Известно, что люди богатые и праздные нередко забавляются от скуки, «с жиру бесятся». Барков веселился в условиях бедности – вопиющей пожизненной бедности.

Будем надеяться, что Бог его простил.

Барковские «срамные оды» метили в человека, которого Барков уважал, которому многим был обязан, – но ради красного словца уважение и благодарность должны были потесниться, – они метили в Ломоносова.

Вот небольшой отрывок из «Оды кулашному бойцу» (одно из немногих сочинений Баркова, которое возможно хотя бы частично цитировать):

Хлебнул вина, разверзлась глотка,
Вознесся голос до небес,
Ревет во мне хмельная водка,
Шумит дубрава, воеет лес,
Трепещет твердь и бездна бьется,
Далече вихрь в полях несется.

Восторгом я объят великим,
Кружится буйно голова... —

далее идет неудобное для цитирования место, а затем еще один отрывок:

Науки, ныне торжествуйте:
Взошла Минерва на престол.
Пермесски воды, ликовствуйте,
Шумя крутитесь в злачный дол.
Вы в реки и в моря спешите
И нашу радость возвестите
Лугам, горам и островам:
Скажите, что для просвещенья
Повсюду утвердит ученья,
Создав прекрасны храмы вам.

Конечно, вы заметили, что я в ходе чтения соединил стихи Баркова со стихами Ломоносова. Но вообще-то они похожи – на слух, если не вдумываться. А как раз в оду вдумываться не обязательно: ода не аналитический жанр, здесь важны воодушевление, чувство...

Восторг Ломоносова и торжество в природе, им описанное, имеют причиной восшествие на престол Екатерины Алексеевны; Барков воодушевлен национальным напитком – и тоже природа этому его приподнятому настроению соответствует. Смешно, современники это чувствовали.

Ломоносовская ода была отправлена в печать на десятый день после дворцового переворота, завершившегося убийством Петра III. Ломоносов спешит прославить Екатерину за то, чем она *должна* стать. А должна она стать Минервой, покровительницей наук, создательни-

цей новых учебных и научных учреждений. Входит ли это в планы Екатерины, совершенно неважно. Ломоносов «истину говорит» императрице, напоминает ей о долге, об обязанностях просвещенной правительницы перед Богом и людьми.

А Барков тоже ведь ничего не имеет против наук, против Екатерины, – он, как шалун в классе, передразнивает строгого учителя, отвернувшегося на минуту к доске, и смешит товарищей. Какая у шалуна корысть? Заметит учитель его проделки – задаст нахлобучку. Зато для товарищей этот смех – разрядка, передышка, обновляющая саму способность восприятия, притупленную зубрежкой полезных истин. (Интересно, что сам строгий и мудрый учитель Баркова Ломоносов совершенно хладнокровно относился к барковским пародиям и, повторимся, неизменно покровительствовал их автору. Вот Сумароков – тот обижался всерьез и постоянно писал на Баркова жалобы.)

Плохо, когда в классе большинство учеников шалуны. Еще хуже, когда пошаливают сами педагоги (что в современной литературе становится правилом), – это уже не школа, а дом терпимости. Но в нормальной школе все именно так и должно быть, как было во времена Ломоносова и Баркова: знающий, строгий учитель, прилежные ученики, один-два шалуна.

Разум необходим, знания бывают полезны, но ведь и товарищество, веселый нрав, насмешка над собой, вино, которое «на радость нам дано», – тоже вещи неплохие. Без них и само просвещение может опротиветь.

Бесчеловечен дух просветительской философии. В царстве разума не предусмотрено место для маленьких человеческих радостей. А слабости человеческие, неизбежные наши немощи и падения, в которых мы каемся на исповеди, признаются в царстве разума или подлежащими окончательному исправлению (вплоть до гильотины), или, что еще страшнее, оправдываются.

Оздоровление общества с помощью гильотины – дело недалекого будущего. А пока что эстетика просветительства дает первую трещину, и в эту трещину проникает грязь. На сцену выступает сентиментализм.

Руссо с предельной искренностью раскрывает перед читателем некоторые патологические стороны своей богато одаренной натуры – и беда только в том, что он не кается, он просто доверчиво полагает, что все люди таковы, святых не бывает, а вот за искренность, за *новое слово* как не поставить себе самому жирную пятерку! Дидро – тот просто любит грязь, любит забраться в нее по уши и находит эту позицию оригинальной, смелой, во всех отношениях прогрессивной.

И как тут не сказать еще два-три слова в защиту Баркова? Понимаете, он не боролся с предрассудками, не оказывал человечеству важную услугу. Он просто писал непристойные пародии, прекрасно сознавая их непристойность. Он дурачился – на свой страх и риск. Что подделаешь, есть и такая традиция в классической поэзии. У Катулла об этом сказано так: *«Сердце чистым должно быть у поэта, но стихи его могут быть другими»*.

Короткое царствование Петра III, столь благоприятное для Баркова (он написал «Оду на всерадостный день рождения его величества благочестивейшего государя Петра Феодоровича, императора и самодержца всероссийского» и получил должность академического переводчика с годовым окладом в двести рублей), ознаменовалось событием, чрезвычайно важным для судеб русской поэзии. Я имею в виду выход знаменитого указа о вольности дворянства.

Сословие, обладавшее значительными привилегиями за свою службу государству, этим указом от обязательной службы освобождалось – и сохраняло привилегии.

Манифест от 18 февраля возвестил благородному Дворянству на вечные времена свободу и вольность. (Предполагалось, что дворяне и без принуждения будут продолжать службу).

Добровольное служение, слов нет, предпочтительней принудительного. Вот только не у всех и не всегда имеется в наличии добрая воля. Просветителям представлялось, что учение о первородном грехе порождено своекорыстным суеверием служителей религии, а человек

вообще добр и так только – заблуждается иногда вследствие «неблагоприятных внешних условий» (ошибки в воспитании, дурная социальная среда, невежество и т. п.), и стоит однажды создать благоприятные условия, указать правильный путь – естественный человек так и зашагает по нему, не оглядываясь и не останавливаясь. В этом-то представлении и заключался коренной недостаток просветительского сознания.

Мы помним, как истолковала указ госпожа Простакова: «Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен? – Да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?»

Алексей Орлов тоже мог руководствоваться буквой указа, когда душил Петра III.

Остановимся на том, что указ развязал руки многочисленному и талантливому сословию – как для хорошего, так и для дурного. И в русской истории время между 18 февраля 1762 года и 19 февраля 1861-го – золотой век дворянской культуры.

Об учениках Ломоносова мы с вами говорим уже долго, хотя люди эти мало жили, мало писали и от того, что именуется у нас сегодня «коридорами власти», были бесконечно далеки.

Ученики Сумарокова, напротив, жили долго, писали много, в литературе (да и не только в ней одной) были сильны и влиятельны. Говорить о них, правда, неинтересно, но и молчанием их не обойдешь – сумароковцы слишком уж заметное место занимают в истории литературы.

Херасков. Сын знатного молдавского боярина, переселившегося в Россию в 1712 году вместе с Дмитрием Кантемиром. Будущему поэту исполнился год, когда боярин умер; Херасков рос и воспитывался в семье отчима, известного знатока и покровителя литературы князя Н. Ю. Трубецкого. Десяти лет был отдан в кадетский корпус, где Сумароков как бы заведовал в это время литературной частью (неофициально, в свободные от службы часы), – и так и стал, с десяти лет, учеником и последователем Сумарокова.

Жизнь Хераскова связана с Москвой, с Московским университетом. Он был его куратором, заведовал университетской библиотекой, газетой, был директором университетского театра, Херасков – патриарх московской литературы, покровитель и опекун Фонвизина, Ржевского, Богдановича. Видный масон. Создатель эпических поэм «Россиада» и «Владимир», о которых Дмитриев отозвался таким образом:

Пускай от зависти сердца в Зоилах ноют;
Хераскову они вреда не принесут!
Владимир, Иоанн щитом его покроют
И в храм бессмертья приведут!

Современники называли Хераскова просто: русский Гомер.

Ржевский – вельможа, сенатор, член академии. Тоже масон. Виртуозно владел стихотворной формой, дружил с Державиным, издал на свои средства «Душеньку» Богдановича – благородный поступок (с коммерческой же точки зрения – оправдавшийся риск).

Богданович – тоже академик и чиновник (председатель Государственного архива). Его «Душенька» произвела переворот в литературе: впервые были опоэтизированы милые женские безделушки, «булавки» и «платьница», впервые явился характер не героический, не трагический, а просто живой – характер русской девушки, простодушной, верной и доброй.

Василий Майков – соратник Хераскова и Новикова, автор «Елисея», которого молодой Пушкин «читал охотно» и в котором впервые в официальной литературе отразилась жизнь городских трущоб. Кстати сказать, единственный поэт своего времени, не знавший иностранных языков, – поэтому умник Дидро именно от поэзии В. Майкова ждал чудес оригинальности и национальной самобытности. После смерти Дидро в его библиотеке было обнаружено изрядное количество книг В. Майкова, вывезенных философом из России, но оставшихся, разумеется, неразрезанными. (Это своего рода традиция: лучшим умам Запада оценочные суждения

о России, о русской культуре даются легче, чем изучение русского языка или хотя бы знакомство с элементарными фактами нашей истории.)

Яков Борисович Княжнин, «переимчивый Княжнин», зять Сумарокова и сам знаменитый драматург, друг Потемкина и Бецкого, русский Расин, тиранобор...

Впрочем, пора остановиться. И постараться от послужных списков деятелей русской литературы второй половины XVIII века как-то возвратиться опять к литературе, к русской поэзии. Обратиться, например, к стихам Богдановича.

Если вы их не читали прежде и вот только сегодня вечером, наслушавшись моих рассказов, впервые раскроете «Душеньку», то, скорее всего, выроните книгу из рук на четвертой странице и уснете.

Чудесные иллюстрации Ф. П. Толстого к «Душеньке» и сегодня радуют глаз; рядом с ними текст этой «древней повести в вольных стихах» выглядит именно «древним», устаревшим:

Хотя ж гулянье по лесам
Особо Душенька любила
И после каждый день ходила,
Со свитой и одна, к тенистым сим местам.
Но в сей начальный день не шла в густые рощи,
Иль ради наступившей ночи,
Или, не зря дороги в лес,
Боялась всяких там чудес,
Иль нежные в ходьбе ее устали ноги;
И Душенька оттоль пошла назад в чертоги.
Не стану представлять
Читателю пред очи
Приятны сны ее в последовавши ночи;
Он сам удобно их возможно отгадать, —

тут прямо видишь подмигиванье автора и встречный благодарный оскал читателя, они друг друга понимают – речь идет о ночах брачных:

Но дни бывали там причиною разлуки,
И дни, среди утех, свои имели скуки.
По слуху говорят,
Что Душенька тогда пускалася в наряд;
Особо же во дни, когда собиралась в сад,
Со вкусом шеголих обнови надевала...

Мы прочли полстраницы, в «Душеньке» их около восьмидесяти. Но повествование так и тащится страница за страницей – монотонно, вяло, утомительно. Невольно вспомнишь отзыв Катенина о «Душеньке»: «Она хороша была в свое время, но останется ли такова на все времена? Краски ни греческие, ни римские, шутки часто подлые, а стихи весьма нечистые» – и отметишь про себя, что Катенин, как обычно, прав.

Мы понимаем умом, что когда-то подобный интерес к бытовым деталям, некоторый первобытный психологизм, попытка привязать душевные состояния, душевные движения героини к реалиям быта – все это было когда-то ново и сенсационно. Но сегодня мы имеем несравненно более совершенные образцы бытовой психологической прозы.

Также и сердца зоилов давно перестали ныть от зависти к Хераскову, хотя племя зоилов не перевелось. Русского Гомера забыли на удивление быстро. Уже Карамзин, щеголяя своей всему свету известной объективностью, хвалил иногда следующие стихи Хераскова:

Как лебедь на водах Меандра
Поет последню песнь свою,
Так я монарха Александра
На старости моей пою, —

и этим вызывал почтительное недоумение у своих слушателей: какой святой человек Карамзин! У самого Хераскова отыскал четыре приемлемых стиха, сумел похвалить даже Хераскова...

Вяземский в 1821 году отзывается о Хераскове совсем уже просто: «Он не худой стихотворец, а хуже».

Сказать несколько слов в защиту Хераскова, наверное, нужно. Начнем издалека, с небольшой цитаты из книги Б. Зайцева о Жуковском: «...лирическая наша поэзия, России XIX века, родилась близ Белёва из легких строф молодого Жуковского. Новый, прекрасный звук в лирике русской явился с Жуковским – Карамзин не был поэтом, Дмитриев недостаточно значителен. Звук этот – воздыхание, нежное томление, элегия и меланхолия».

Воздыхание, нежное томление, элегия воцарились в русской поэзии еще со времен Тредиаковского и Сумарокова; меланхолией действительно заразили ее сентименталисты, Карамзин и Дмитриев, но впервые в русской поэзии этот «новый, прекрасный звук» является именно у Хераскова:

Иной стихи слагает
Пороками ругаться;
А я стихи слагаю
И часто лиру строю,
Чтоб мог моей игрою
Понравиться любезной.

Утрата любви, «смерть, когда любовь теряем», страшат поэта больше, чем «другая смерть», физическая; утешения дружбы едва-едва смягчают горечь этой утраты:

Томным шествием приходит
Дружба к помощи моей;
На любовь она походит,
Но огня не вижу в ней.

Дружбой, дружбой восхищаюсь!
Ей теперь иду вослед;
Но слезами обливаюсь,
Что утечи прежней нет.

Вообще же, при сравнении Хераскова с Карамзиным и Жуковским обнаруживаешь немало общего. Сочетание личной мягкости, доброжелательности, терпимости с верностью строгим моральным принципам отличало каждого из них. Причем строгость у наших поэтов начиналась и заканчивалась на себе, а отношение к другим, особенно к младшим, граничило нередко с попустительством.

Когда Вяземский в 1816 году бросает упрек арзамасцу-отступнику:

Любви призыву ты не внемлешь,
Но в клире нравственных певцов
Перо Хераскова приемлешь, —

то здесь неприязнь к Хераскову и неприятие нравственности как таковой до того тесно сплетаются, что их не разделить.

Впрочем, как ни относиться к Хераскову, ясно одно: в русской литературе после смерти Ломоносова что-то не так, что-то неблагополучно. Стремительный взлет российской государственности в век Екатерины сопровождался и расцветом искусств. В архитектуре, в живописи, в музыке является целое созвездие первоклассных мастеров: Старов, Растрелли, Шубин, Левицкий, Бортнянский. И всем казалось, что литература тоже находится на высоте, отвечает моменту. Это потом уже, при Пушкине и Гоголе, настало время журнальных статей, начинающихся словами: «Бедна русская литература...» или: «Литературы у нас еще нет...» – а в екатерининскую эпоху русские Гомеры, русские Вергилии роились и встречались на каждом шагу, книги их раскупались, звание литератора было одним из наиболее уважаемых в обществе. Едва успев посеять, все устремились на жатву.

Высокий общественный статус литературы в век Екатерины, как мы уже говорили, способствовал действительному ее расцвету к началу царствования Николая I. Но искусственная выгонка русских Вергилиев и Гомеров, форсировка, завышенная оценка наличной литературы неизбежно должны были вызвать в следующем уже поколении движение встречное, вызвать реакцию.

Пересмотр литературных репутаций начался в 1815 году, когда родился «Арзамас», а молодой критик Строев в своем журнале «открыл пальбу на Хераскова»; в 1833 году Н. Полевой уже отвергает скопом «всех этих Сумароковых, Херасковых, Петровых, Княжнинных, которые не писали бы, если бы не читали написанного прежде их другими». К тому же времени относится и известный нам отзыв Плетнева о Сумарокове: «Неутомимый говорун и пересказчик».

Действительно, сумароковцы были только пересказчики чужого, и их творчество, заслоняя от нас своим классическим фасадом «неученую», «неизящную» российскую действительность, выглядит сегодня разновидностью потемкинской деревни. Тем не менее, дело свое они делали: русское стихотворство крепло понемногу, наращивало мускулы.

Среди поэтов-читателей, перечисленных Н. Полевым, только Петров сумароковцем никогда не был. И вот о нем, о Василии Петрове, стоит поговорить отдельно.

Последователь Ломоносова, сын священника (и его, как Поповского и Баркова, как самого Ломоносова, отличало от людей круга Сумарокова основательное знание древних языков), этот славный поэт целиком уже принадлежит веку Екатерины, и судьба его довольно типична для этого царствования.

Петров рано лишился отца. Учился самостоятельно – дома, под присмотром матери. Умерла и мать. Шестнадцатилетний Петров забрал свою долю наследственного имущества – кусок войлока, способный служить постелью, – и перебрался в Заиконоспасский монастырь. «Темные монахи» разглядели в юноше исключительные способности; Петров был принят в Славено-греко-латинскую академию, а по окончании оставлен при ней учителем. Преподавал риторику и синтаксис.

И вот в тридцать лет никому не известный преподаватель пишет «Оду на карусель», Екатерина эту оду читает – и следуют все положенные в таких случаях чудеса: присылка Петрову золотой табакерки с двумя сотнями червонцев, вызов ко Двору, дозволение носить шпагу (лич-

ное дворянство), двухлетняя командировка в Англию для пополнения образования, дружба Потемкина, вражда Сумарокова и Василия Майкова («Елисей» – это в первую очередь отталкивание от стиля Петрова, пародия на Петрова – пародия, кстати сказать, и на Вергилия, которого Петров переводил, и на саму любовь Дидоны к Энею), вражда Новикова, заявившего печатно, что муха больше походит на слона, чем «нескладные и наудачу написанные» сочинения Василия Петрова – на ломоносовские оды, смерть Потемкина, которую Петров искренне оплакал:

Что смерть как жизни край? и жизнь как путь ко смерти?
Тот жил, кто имя мог за жизнь свою простерти.
Твое на целую ты вечность распростер:
Ты ковы чуждых стран, ты гордых варвар стер,
Науки ободрил, чин воинства устроил,
Россию оградил, расширил, успокоил...
.....
Ты в поле кончил дни, хотяй почити мало:
Воинский плащ твой одр, и небо покрывало.
Не слышен был твой стон, не слышен смерти вздох;
Взор к небу обращен, куда тя позвал Бог, —

и наконец, известие о смерти Екатерины, потрясшее Петрова настолько, что с ним случился удар, от последствий которого престарелому поэту уже не суждено было избавиться.

Репутация Петрова на сегодняшний день незавидна. Придворный одописец, «карманный стихотворец» Екатерины – лизоблюд, одним словом. Уподобление нескладных сочинений Василия Петрова мухе, по крайней мере, картинно – советские же литературоведы отыскивали для характеристики петровских од такие слова, которым место скорее в обвинительном акте, чем в научной статье. «Квазиломосовская трескотня од В. Петрова» (Лотман), «ода Петрова представляла интересы правящей верхушки» (Г. Макогоненко), «крайняя степень падения оды» (Г. Макогоненко).

Подобные оценки, как вы понимаете, больше говорят об исследователе, о его эпохе, о его пристрастиях, чем об исследуемом поэте. Петров имел своего читателя в прошлом (и весьма квалифицированного: Катенин, Пушкин отзывались с уважением о его творчестве, Дмитриев находил в его одах «обилие мыслей и силу», даже Вяземский, строгий, придирчивый, «привязчивый» Вяземский и тот обмолвился однажды похвалой: «...*пламенный Петров, порывистый и сжатый*»), Петров и в будущем может найти своего читателя. И не исключено, что через сто лет именно «загадка Лотмана», «тайна Макогоненки» привлекут вдумчивого исследователя и лишат его покоя: да что ж это за люди такие были, Господи, что им поэма «Русские женщины», стихи «О советском паспорте», песня «Над седой равниной моря...» и другие однодневки больше нравились, чем «Ода на карусель»?

Прочтите Петрова сами (если достанете, конечно; последнее отдельное издание его сочинений вышло в 1811 году), и вы убедитесь, что это мастер стиха, сочетавший эмоциональность, приподнятость, нередко и силу, присущую ломоносовским одам, с такими синтаксическими ухищрениями, прихотливостью, намеренными архаизмами, которые советское литературоведение приписывает влиянию Тредиаковского и которые с *большим* основанием можно было бы объяснить общим для двух поэтов-поповичей влиянием языка Церкви.

И вот это хитросплетение слов, живущих и играющих в железном корсете ломоносовского стиха, способно производить чарующее впечатление на читателя. Оправдывать же близость Петрова ко Двору, истолковывать в каком-нибудь превратном свете его естественные и красивые монархические чувства – во всем этом, по-моему, нет необходимости.

Писатель Эренбург рассказал в своих воспоминаниях, что Ю. Тынянов собирался «объяснить» известные пушкинские стихи 31-го года («Клеветникам России», «Бородинская годовщина») – очень может быть, что и для Василия Петрова отыщется со временем такой Ю. Тынянов, который его «объяснит» и «оправдает». И окажется, что Петров – вопреки своим убеждениям, вопреки своей вере – был крупным поэтом. Что стихи Петрова – «глубже» или «шире» того, кто их написал.

«Перечитывать заново старого поэта», то есть приспособливать вечную поэзию к современным вкусам, – дело нехитрое и, вообще говоря, прибыльное. Но надо стараться по мере возможности придерживаться более чистых источников дохода.

Петров, как Ломоносов, как Сумароков, как пока что и все русские писатели, – с веком наравне и старательно переводит оду господина Тома «Должности общежития». Но у него самые должности (то есть обязанности) общежития описаны с таким поэтическим огнем, что невозможно их спутать с «должностями» более поздних наших поэтов, уязвленных гражданской скорбью или зудом обличительства. Василий Петров и в общежитии остается Василием Петровым:

О, срам и студ Европы всей,
Плачевна наших дней судьбина!
Любезна должность гражданина
Забвенна ныне у людей!
Источник общих благ и сила,
Священна титла, что родила
Великих свету душ, увы!
У нас презреннее плевы...
.....
А ты, природы отщетаешь,
Народных бегая соборов
И кроясь в темноте затворов,
Прервал с собой всю мира связь.
Сквозь знаки на лице угрюмы
В тебе бесплодны видны думы;
Без упражнения и дел,
О, как твой дух оледенел!

Для русского уха есть все же что-то магнетическое в словах «век Екатерины».

«Сравнивая все известные нам времена России, едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было одно из счастливейших для России, едва ли не всякий из нас пожелал бы жить в нем», – писал хладнокровный, здравомыслящий Карамзин.

А романтик Н. Полевой дал веку Екатерины следующую яркую характеристику: «Отнимая целые царства у Стамбула, Екатерина, не боясь, слышала шведские выстрелы под самым Петербургом, крепкою рукою задушила безумную ярость Пугачева, ослепила всю Европу блеском побед и великолепия, уничтожила Польшу, коснулась скипетром берегов Америки, рассыпала миллионы между подданными. Окруженная роскошью, вкусом, великолепием, умом Европы, людьми, каковы были Потемкин, Румянцев, Суворов, Безбородко, Вяземский, Орлов, Шувалов, Бецкий, Панин, – Екатерина казалась полубогиней. Ее путешествие в Крым, когда римский император и польский король встретили ее среди избранного европейского общества, среди толпившихся ей на сретение изумленных ее подданных, среди грома и пышности, и когда она, с улыбкой говоря спутникам о взятии Царяграда, указывая на безмерные свои области

прибавляла: “Мое маленькое хозяйство идет очень порядочно”, – вот характеристика двора и века Екатерины».

«Роскошь», «вкус», «великолепие» – три слова, которые к поэзии Петрова приложимы вернее, чем к какому-либо другому литературному явлению той баснословной поры. Чтобы сегодня воспринять эту поэзию, требуются усилия, требуются кое-какие знания, – но это не невозможно.

«Ода на великолепный карусель» (первый ее вариант) остается, пожалуй, лучшим созданием Петрова; и атмосфера того давнего праздника, действительно великолепного, может быть нами хотя бы отчасти почувствована прямо сейчас, здесь, на этом месте:

Убором дорогим покрыты,
Дают мах кони грив на ветер;
Бразды их пеною облиты,
Встает прах вихрем из-под бедр:
На них подвижники избранны
Несутся в путь, песком устланный;
И кровь в предсердии кипит
Душевный дар изнесть на внешность,
Явить нетрепетну поспешность;
Их честь, их царский взор крепит.

Но что за красоты сияют
С гремящих верха колесниц,
Что рук искусством превышают
Диану и ее стрелиц? —

а это, после торжественного вступления в амфитеатр всех четырех кадрили, начались «дамские на колесницах курсы»:

Подняв главу из теней мрака,
Позорищный услышав шум,
Со устремленьем томным зрака
Стоит во мгле смущенных дум
Бледнеюща Пентезилея,
Прискорбный дух и вид имея,
Прерывным голосом рекла:
«Все б греки в Илионе пали,
Коль сии б девы их сражали;
Ручьями б кровь их в понт текла.

И тщетно было б то коварство,
Что плел с Уликсом Диомид:
Поднесь стояло б Трои царство
И гордый стен Пергамских вид...»

Вслед Пентесилее Василий Петров выводит для нас «из теней мрака» Салтыкова и Репнина, славного Миниха, который в свои восемьдесят три года был главным судьей каруселя; выводит братьев Орловых:

Подобный здесь царю пернатых
Полет в героях вижу двух,
Желанием хвалы объятых,
Подвижнических мзды заслуг.
Сияя видом благородным,
Являют вдруг очам народным
Соперничество и родство...

Г. Макогоненко особенно возмущен тем, что ломоносовский стих, ломоносовские образы используются Петровым для описания всего-навсего «конного состязания перед лицом императрицы». Это-то и есть предел падения оды.

«Ломоносов, славя подвиги русских воинов, которые под предводительством Петра превратили Россию в могучую державу, сравнивал их с героическими римлянами. Петров использует это сравнение, чтобы показать “римский дух”... в братьях Орловых, отличившихся на карусели».

Возмущение Макогоненко очень забавно. Всему свету известно, что братья Орловы отличались не только на каруселе. А обычай воспевать досуги героев, описывать подробнейшим образом их успехи в различных метаниях, единоборствах, конных состязаниях был хорошо известен уже во времена Гомера. Приписывать Петрову изобретение этой традиции – большая, но и чрезмерная все-таки честь.

В своей Хотинской оде Ломоносов десять раз упоминает Анну Иоанновну, проживавшую постоянно в Петербурге, и совсем не говорит про Миниха, хотя именно Миних руководил войском, бравшим Очаков и Хотин. В «Оде на карусель» Петров не просто показывает нам престарелого фельдмаршала, который «лавры раздаст» особо отличившимся спортсменам, но и вспоминает прежние его победы – именно они придают настоящий вес карусельным лаврам.

Что же касается «римского духа в братьях Орловых», то Петров действительно в одном месте своей оды сравнивает Григория Орлова с Децием и Камиллом. Только вряд ли он вычитал это сравнение у Ломоносова: просто Григорий Орлов на каруселе 16 июня возглавлял «римскую» кадрили, соответственно этому был и одет. Орлов Алексей командовал в тот день кадрилию «турецкой» – Петров и сравнивает его с Измаилом, родоначальником агарян, что не означает, наверное, присутствия в братьях Орловых специального турецкого духа.

Замечу попутно, что у меня вызывает белую зависть повышенное самочувствие многих наших литераторов, позволяющее им взирать свысока на Орловых, Потемкина, на саму Екатерину... Какой-нибудь Зошенко, едва возвратившись из позорной поездки по Беломорскому каналу, садится и пишет про графа Алексея Григорьевича Орлова (называя его попросту «Алешей»): «Будь он жив, мы били бы его в морду при первой встрече». Приятное самообольщение... Орловы, потомки стрельца Адлера, который на плахе поразил Петра I своим хладнокровием и был царем помилован, с чувством страха знакомы вообще не были. А Алексей Орлов еще и шестерку разогнавшихся коней останавливал одной рукой. Так что не очень понятно, какая у мнительного, слабонервного Зошенко могла быть с ним «первая встреча». Впрочем, Орлов держал для бедных дворян открытый стол, за который садилось нередко по сто человек, – вот туда мог бы еще попасть автор «Рассказов о Ленине». А дальше столовой ему нечего было делать в доме Орлова, да его бы и не пустили дальше.

Много пишут сейчас про возрождение духа Древней Эллады в России XIX века (московские и петербургские салоны – «северные Афины», Пушкин – Протей, Периклес – Чаадаев, Баратынский – «счастливый образец изящности афинской», Алкивиад – Леонтьев и проч.) – ничего этого не было бы и не могло бы быть без Екатерины и Петра, без великолепного Потемкина, без флотоводца, духовидца, цареубийцы Алексея Орлова с его «греческими глазами» и «повелительной красотой всего колоссального его вида». Дочь-молитвенница раздавала милли-

оны для облегчения заgrabной его участи; оградить имя отца от мышинных диверсий отважных советских литераторов оказалось не в ее власти.

Птица Минервы вылетает в сумерках; веку мудрецов и поэтов необходимо должен предшествовать век героев – таков именно и был русский XVIII век.

«Ода на карусель» заканчивается славословием, от которого дух захватывает у современного читателя, не привыкшего к открытому и свободному исповеданию монархических чувств:

Средь многих божеству приличеств,
Екатерина новый путь
Открыла достигать величеств,
Свой дух вливая в верных грудь.
Как солнце в целом светит мире,
Всем виден блеск в ее порфире,
Без ужасу своих громка,
Без гордости превознесенна,
Без унижения смиренна,
Без всех надмений высока.

Благополучен я стократно,
Что в сем живу златом веку...

Хорошо. Отложив книгу, замечаешь, что чтение тебя освежило и укрепило, что ты встряхнулся, обновился – как будто и в самом деле побывал на площади перед Зимним дворцом, протискивался там между зрителями, крутил головой, волновался:

Я странный слышу рев музыки!
То дух мой нежит и бодрит...

Действительно хорошо. И как-то даже удивительно вспоминать о том, что Петров, скромный московский учитель, не мог быть на представлении 16 июня и описал петербургский «великолепный карусель» заочно.

Интересно, что Державин в стихотворении 96-го года, посвященном «исполину», «*который удержал те нравы, какими древний век блистал*» (то есть посвященном все тому же Алексею Орлову), подступался к изображению «каруселя», память о котором и через тридцать лет была жива, – но ничего запоминающегося создать не сумел.

Василий Петров ушел последним из той славной плеяды стихотворцев-поповичей XVIII столетия (Третьяковский, Поповский, Дубровский, Барков, Костров), чьи заслуги в деле русификации российской поэзии трудно переоценить. У сумароковцев была рассудочность, иногда рассудочная сентиментальность – живое тепло было только у поповичей.

«*К чему бесплодно спорить с веком?*» Что-то полезное можно было перенять у Вольфа и Баттё, даже у г-на Тома, даже у Вольтера и Б. Франклина – но важно было при этом не сорваться с тысячелетнего корня, устоять на нем, сохранить себя. И выходцам из духовного сословия, коренного, исконно русского, до поры до времени это удавалось.

Строя лиру на чужеземный лад, они сохраняли внутреннее равновесие, благодушие, благоволение к миру – сохраняли, короче говоря, почву под ногами. Русскую почву.

А что же благородное дворянство? Как распорядилось оно дарованной вольностью и чем одолжило во второй половине XVIII века русскую поэзию?

В это время жил в России человек, дворянин, которому принадлежит выдающаяся роль в развитии национальной поэзии, хотя писал он немного и особенно крупным поэтом не был. Я говорю сейчас про Николая Александровича Львова.

Теоретик искусств, эрудит, арбитр изящного (Безбородко, собирая свою знаменитую коллекцию, почти ничего не приобретал без совета Львова), аристократ, вельможа (в царствование Павла – тайный советник), крупнейший архитектор и строитель, рисовальщик, поэт, переводчик, театральный и музыкальный деятель, издатель народных песен – вот далеко не полный перечень талантов и заслуг этого сверхъестественно одаренного человека.

Необычайной была прелесть его лица, образцовой – семейная жизнь.

Но вообще-то наш разговор не о дарованиях. Таланты Бог раздает, и, по справедливому суждению Молчалина, «свой талант у всех». В конечном счете, не так уж важно, что именно получил ты при рождении даром – поэтический талант или горб на спину. Важно лишь то, как ты распорядился полученным.

Львов, обладая «решительной чувствительностью к изящности» (по свидетельству Державина), то есть чувствуя красоту очень остро, до слез, всю жизнь делился этой своей способностью с другими. Кружок Львова, славный в истории нашей литературы, – это, конечно, в первую очередь Хемницер, Державин и Капнист: все трое обязаны Львову очень многим. Но к тому же кружку принадлежал, скажем, и двоюродный брат Львова Федор Петрович, который, будучи любителем и знатоком музыки, занимался сам музыкальным образованием сына, а этот сын – известный нам Алексей Львов, создатель Российского гимна. Левицкий, Кваренги, Бортнянский – легендарные имена и тоже принадлежащие к ближайшему окружению Львова. Все знают, что в России дореформенной много было культурных дворянских семейств; хочется добавить, что иные из них (притом наиболее известные – Бакунины, Муравьевы) получили важный импульс от Николая Львова. Без его влияния история этих семейств сложилась бы по-другому и, возможно, была бы скромнее.

На прошлом чтении мы говорили, что поэт – это обособление, аномалия, что это в каком-то смысле чудовище, способное действительно не шадить для звуков жизни, даже и чужой (вспомните хотя бы стихи Тютчева «*Не верь, не верь поэту, дева...*»). Вот Львов – это как раз аномалия аномалии, то есть именно то, что аномалию исправляет. Он мог бы стать ведущим поэтом в своем поколении, имей он нормальное честолюбие; вместо этого Львов отыскивает повсюду других несчастных, уязвленных красотой, измученных своим даром, и снабжает их необходимыми сведениями, участием, любовью – из личных запасов.

Достижения Львова в поэзии скромны, но не вовсе незаметны. Считается, что он предвосхитил поэзию русского сентиментализма. Дал русскому читателю полного Анакреона, переведенного размером подлинника: этот труд лег в основание анакреонтики Державина и Капниста. Одним из первых у нас перевел Львов и шесть вис легендарного викинга Харальда Сигурдарсона, добивавшегося много лет любви нашей Елизаветы Ярославны, совершившего на суше и на море различные подвиги. Впоследствии А. К. Толстой посвятил этому норвежскому титану две прекрасные баллады; львовская же «Песнь Гаральда Храброго» является переложением не скандинавского текста «Вис Радости», а всего лишь французской их версии – да и скальдическая поэзия в принципе непереводаема, – но важно то, что для своего перевода Львов использовал ритмику народной песни «Не звезда блещит далече во чистом поле». А богатырская повесть «Добрыня», начатая Львовым, стала первым в нашей поэзии (и весьма искусным) подражанием былинному эпосу. И именно Львову принадлежала идея издания знаменитого «Собрания народных русских песен с их голосами», ставшего событием в истории русской литературы и музыкальной культуры.

Таким образом, в середине пышного царствования Екатерины с его классическими и ложноклассическими литературными идеалами чуткий Львов возобновляет поиски национального стихотворного размера, вплотную подходит к мысли о необходимости народности

для литературы. Это не «народность» некоторых од и песен Н. П. Николева, писавшего с одинаковой легкостью по-французски, по-итальянски и по-солдатски («Гудошная песнь на случай взятия Очакова»), – это та народность, требование которой, идущее вразрез с генеральной линией века Просвещения, станет программным у немецких романтиков.

Подытоживая сказанное о Львове, заметим: он многое делал первым, но он мало любил своих литературных чад, мало ими занимался и не столько стремился сам подняться на вершину славы, сколько расчищал дорогу вслед идущим. Чтобы проиллюстрировать отношение Львова к своему творческому наследию, приведу отрывок из письма, в котором Николай Александрович сообщает Капнисту о том, что некий общий знакомый «потерял не только все мои сочинения, сколько их ни было, но и записки мои, до художеств касающиеся, и все мои журналы. Нет у меня теперь в библиотеке ни строчки, а в голове ни одной мысли. Я чаю, ты бы за это рассердился. И я бы рассердился, да стал глуп очень, так все равно, прости». Тут вы все видите сами. Разграблены архив и библиотека. Львов сознает, что ненормально не сердиться из-за этого, и оправдывается болезнью и вызванным ею «поглупением». Просит на всякий случай прощения... Ясно, что автором, человеком, пестующим свою самость, Львов быть не может. Его природа, пожалуй, выше авторской.

Слово, которое мне сегодня особенно часто приходится употреблять, есть слово «перевод». Все поэты XVIII столетия что-нибудь да переводят; даже Василий Майков, не зная иностранных языков, переводит с церковно-славянского псалмы. Это понятно. Русская поэзия, хоть и родилась у Ломоносова «красавицей», из детского возраста еще не вышла и должна многое перенимать от старших сестер.

И здесь выплывает на поверхность одна тема – тема деликатного свойства.

В учебной литературе до сих пор чрезвычайно высоко оценивается деятельность Новикова. А судьба Новикова служит обыкновенно наглядным пособием при публичной защите тезиса: «Самодержавие – враг просвещения». В самом деле, с одной стороны мы видим развратную императрицу, которая закрепощает вольных украинских хлебопашцев и раздает награбленные деньги любовникам, с другой – благородного просветителя, который наводняет Россию книгами, заслуживает тем самым неприязнь развратной императрицы и попадает в крепость... Живая картина, контраст разительный.

Действительность, как водится, сложнее.

Культурное строительство во все времена стоило очень дорого, а успехи истинного просвещения в России XVIII столетия очевидны. Укажем на одну только деталь: античная классика была у нас за эти сто лет переведена и издана практически полностью.

Инициатива в деле усвоения общемировой культуры исходила от правительства, шла сверху; Новиков был один из частных предпринимателей, откликнувшихся снизу на эту инициативу. Тайные цели Новикова, наверное, отличались от благородных и ясных целей правительства (он был видный масон, мартинист), но мы с вами, слава Богу, в масонские тайны не посвящены и говорить о них поэтому не будем. Известно, что Новиков в двадцать раз увеличил оборот книжной торговли в России (об этом можно прочесть в «Обзрении русской словесности 1829 года» И. В. Киреевского) и приохотил нашу провинцию к беспробудному, запойному чтению, подготовив тем самым фундамент для устройства в будущем Ордена российской интеллигенции. Этой заслуги никто у него не отнимает. Но ведь не Новиков платил Баркову жалованье за его занятия Горацием, не Новиков материально поддерживал семнадцатилетний труд Василия Петрова над переводом «Энеиды»... Скажем наконец грубо и прямо: царское правительство тратило огромные деньги на просвещение, на культурное строительство, и тратило безвозвратно – Новиков на просвещении зарабатывал. И заработал так много денег, так широко развернул с их помощью свое «дело», что мог уже формировать общественное мнение, направляя его на цели, весьма отличные от целей правительства. Впрочем, пострадал он не за это, а за свои связи с заграничными масонами.

Попробуем теперь воскресить метод сравнительных жизнеописаний, излюбленный Плутархом, и в параллель к судьбе Новикова рассмотрим другую писательскую судьбу.

Ермил Иванович Костров признается крупнейшим поэтом-переводчиком XVIII столетия. Гнедич в свое время начал переводить «Илиаду» александрийским стихом с той песни, на которой остановился Костров, не рискуя (или просто не находя нужным) вступать с ним в состязание. Суворов во всех походах возил с собою костровский перевод песен Оссиана, называл Кострова любимым своим поэтом и неизменно ему покровительствовал.

А в покровительстве Ермил Иванович нуждался.

М. Дмитриев описывает его так: «Костров – кому это не известно! – был действительно человек пьяный. Вот портрет его: небольшого роста, головка маленькая, несколько курнос, волосы приглажены, тогда как все носили букли и пудрились; коленки согнуты, на ногах стоял не твердо и был вообще, что называется, рохля. Добродушен и прост чрезвычайно».

Дальше М. Дмитриев рассказывает о том, как Потемкин однажды заинтересовался Костровым и пожелал его видеть. И как Дмитриев, Александр Карамзин (брат Николая Михайловича) и другие собирали Кострова в дорогу. Каждый что-то уделил ему из своего платья. Поэта «причесали, обули, привесили ему шпагу, дали шляпу и пустили идти по улице. А сами пошли его провожать, боясь, чтоб он, по своей слабости, куда-нибудь не зашел; но шли за ним в некотором расстоянии, поодаль, для того, что идти с ним рядом было несколько совестно: Костров и трезвый был не тверд на ногах и шатался». Довели его до дверей Потемкина, втолкнули – и тогда уже разошлись по своим делам.

О чем говорит это описание характера и житейских привычек Ермила Ивановича? Ведь если такой человек, мягко говоря незнатный, абсолютно незащищенный, неприспособленный, притом хронический алкоголик, мог все-таки прожить жизнь, писать и переводить, иметь при университете синекуру (1500 рублей в год), пользоваться вниманием таких людей, как Потемкин, Суворов, Шувалов, Дмитриев, – ну, это говорит о том, на мой взгляд, что горькая участь Новикова не была обязательной для человека, решившегося в царствование Екатерины посвятить жизнь литературе.

Говоря о кружке Львова, я упомянул первый раз имя, которое стоит чрезвычайно высоко в индексе русских поэтов.

На двух чтениях мы с вами перебрали немало славных поэтических имен, относящихся к XVIII столетию; среди них было до сих пор только два имени обязательных: Ломоносов и Кантемир. Простительно не знать Хераскова или Богдановича, могут не дойти руки до Петрова, до Николая Львова – но человек, мнящий себя образованным, обязан хотя бы раз в жизни внимательно прочесть Кантемира и Ломоносова. Это классические наши писатели. Можно учиться правильно говорить по-русски, правильно мыслить на русском языке, не интересуясь тем, как это делали образцовые авторы в XVIII столетии, можно и дом на песке строить без достаточно глубокого фундамента. Не будем обольщаться: Кантемир, Ломоносов устареть не могут. Если русская классика ничего не говорит уму и сердцу нашему, то виноваты в этом как раз ум и сердце, а не классика.

Так вот, третий такой автор на нашем пути, автор классический, это Иван Иванович Хемницер. Когда-то его басни входили в обязательную программу начальной русской школы, теперь самое имя его забывается понемногу.

Отец Хемницера, честный немец, перебрался из Саксонии в Россию, прослужил здесь пятьдесят лет по госпитальной части и умер в бедности. Сын своего отца, Хемницер двадцать четыре года провел на государственной службе и тоже ничего для себя не выслужил. Едва-едва мог он пропитать на свои средства старушку-мать, а уж про женитьбу нечего было и думать.

Как поэт Хемницер пользовался известным признанием. Незадолго до смерти был даже избран в члены Российской академии. Имел прекрасных друзей. Его трудно было не любить

– тонкого, застенчивого, отлично образованного, простодушного Хемницера. Имелись среди его друзей и люди влиятельные, состоятельные.

Но ведь это Кострову легко было помочь – накормить, обути, причесать... Благовоспитанному, безукоризненному в житейских отношениях Хемницеру помочь было не в пример труднее. (И это при том, что Костров, вообще говоря, в год пропивал больше, чем Хемницер проживал.)

Друзья думали о нем, хлопотали, искали для него *местечко* и наконец нашли. Тридцатисемилетний Хемницер назначен был консулом в Смирну. Туда он и отправился скрепя сердце, год промучился в этой гибельной малоазийской Смирне и умер. Кажется, от холеры.

Сочинения Хемницера отличает чистота слога, точность выражений, безыскусность. Что может быть проще такого, например, зачина:

Какой-то в Лондоне хитрец один сыскался,
Который публике в листочках обещался,
Что в узенький кувшин он весь,
Каков он есть,
С руками
И с ногами,
В такой-то день намерен влезть, —

или такого:

Невесть разбойники, невесть мурзы какие,
Да только люди непростые,
И двое их всего —
То есть вот этих только двое,
А то их всех число совсем другое.

Простота и прелесть подобных стихов являются, конечно же, результатом труда – очень большого, очень напряженного и в известном смысле неблагодарного. Незаметного. «Что в них *особенного*? Что здесь *нового*?» – скажет или подумает читатель при первом знакомстве с ними.

Гораздо выгоднее для поэта отдаться вполне потоку своих чувств, пусть не отстоявшихся, незрелых, не отчетливых для самого поэта, – и затопить ими читателя, захватить, увлечь за собой... Куда увлечь? Господи, да какая разница! Разве не ясно сказано у Поэта: «...и в *дуновении чумы*»? Была бы только лирическая сила налицо:

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву...

Возразить, естественно, нечего.

Разве что вспомнишь лишний раз горькие слова Баратынского: «Поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большою обдуманностью, с большим глубокомыслием; он скучен...» – но и эти слова Баратынского лишний раз напоминают о том же: в промышленную эпоху честное служение в поэзии невыгодно.

Стихи, подобные хемницеровским, рассчитаны на идеального читателя, каких в ином поколении может вообще не родиться или родиться один-два. В таких стихах нет ничего лиш-

него и случайного: каждое слово, каждый знак препинания стоит на своем месте по смыслу, при этом все они строго поляризованы в поле авторской воли и служат общей идее. Единственной наградой автору за колоссальные издержки времени и материала при выработке таких стихов является их долговечность.

И не то чтобы нам не нравилась сама по себе лирическая сила. И нельзя сказать, чтоб мы считали наготу стиля, отсутствие лишних слов священной обязанностью поэта, – напротив, энергичное выражение, яркий образ сильнее и резче выступают на фоне трех-четырех бесцветных, «проходных» строк.

Но человек, слишком долго занимавшийся поэзией русских символистов или вдруг прочитавший подряд несколько больших вещей И. Бродского («Авраам и Исаак», «Большая элегия Джону Донну»), где элементарным носителем лирического заряда становится не слово, не строка, даже не строфа, а – страница, скоп, кубическая сажень стихов, каждый из которых сам по себе ничего не стоит, – такой человек с истинным удовольствием возвращается к стихам Хемницера.

Литература о Хемницере невелика. Из крупных критиков один только Н. Полевой посвятил ему отдельную статью. Белинский где-то что-то провещал полуодобрительное о «старике Хемницере». Вяземский отозвался о Хемницере так: «Согласимся, что если нравственная цель басни и постигнута им, то не прокладывал он к ней следов пиитических...» С этим как раз трудно согласиться. Для молодого Вяземского, который со слуха был романтик и дилетантски за романтизм ратоборствовал, классицист Хемницер – педант, не поэт. Но именно педанты ясно никогда не пишут. Педант может быть эпигоном классицизма, романтизма, какого-нибудь другого литературного направления – в любом случае он кропотливо имитирует «следы пиитические» и, не постигнув нравственную цель сочинения, не добравшись до тайной пружины, которой заводится весь механизм, впадает в неряшливое многословие.

А нагота стиля у Хемницера подобна сдержанности благовоспитанного человека, который, возможно, и проигрывает при первом знакомстве холодному позеру с его расчисленными жестами или задушевному молодчику, чья природная доброжелательность подогрета двумя бутылками пива, – но при знакомстве многолетнем раскрывает больше и больше привлекательные стороны своей натуры.

Чтобы нам закончить разговор о Хемницере на мажорной ноте, прочитаем вместе отрывки из бесподобного «Метафизика». Сюжет басни вы, наверное, помните: отец посылает сына учиться за границу, сын возвращается по-прежнему дураком, но дураком ученым. И вот однажды, «в метафизическом беснуясь размышленьи», он оступается на ровной дороге и попадает в ров, в глубокую яму.

Отец, который с ним случился,
Скорее бросился веревку принести —
Премудрость изо рва на свет произвести;
А умный между тем детина,
В той яме сидя, рассуждал:
«Какая быть могла причина,
Что оступился я и в этот ров попал?
Причина, кажется, тому землетрясенье,
А в яму скорое стремленье
Могло произвести воздушное давленье,
С землей и с ямою семи планет сношенья...»

Прибегает отец с веревкой: «Я потащу тебя, держися!» – но студент, сидя на дне ямы, вступает с ним в дискуссию и хочет сначала выяснить вопрос о сущности веревки – какая это вещь? Отец,

Вопрос ученый оставляя,
«Веревка вещь, – ему отвечивал, – такая,
Чтоб ею вытащить, кто в яму попадет». —
«На это б выдумать орудие другое! —
Ученый все свое несет. —
А это что такое?..
Веревка! – вервие простое». —
«Да время надобно! – отец ему на то. —
А это хоть не ново,
Да благо уж готово». —
«Да время что?» —
«А время вещь такая,
Которую с глупцом не стану я терять.
Сиди, – сказал отец, – пока приду опять».

Что, если бы вралей и остальных собрать
И в яму к этому в товарищи послать?..
Да, яма надобна большая!

«Метафизик» веселил сердца многих поколений русских школьников.

Какие-то глубинные струны народной души – с ее здравомыслием, с ее стремлением к предметности, к конкретности духовного опыта – отзывались на эту басню (в том виде, в каком она существовала до конца XIX века и в каком вы ее сейчас слышали, то есть с поправками Капниста) с благодарностью.

Василий Васильевич Капнист – еще один член кружка Львова. Культурный поэт, поэт тонкий и разнообразный, достигший по меркам своего времени чрезвычайно высокого уровня версификации.

Сын героя, павшего в битве при Гросс-Егерсдорфе. Муж совета, побывавший на своем веку и губернским предводителем дворянства, и директором Императорских театров, и даже генеральным судьей Полтавской губернии. Мужественный человек, боровшийся средствами искусства против произвола судейских чиновников. Друг бедняков, создавший между прочими и такие запоминающиеся, щемящие строки:

...муж с женою,
Бежа из родины своей,
Уносят бедность за спиною,
А у груди нагих детей.
Богач! на что ты грабишь нища?..

Грек по происхождению, Капнист был уроженец и патриот Малороссии. Закрепощение крестьян трех украинских наместничеств, произведенное правительством в мае 1783 года, переживалось им очень тяжело. (Хотя земным раем эти области не были и до 1783 года; Екатерина только ввела в минимальные юридические рамки вековой произвол казачьих старшин.) Ф. Ф. Вигель утверждает даже, что Капнист, как и младший товарищ его Гнедич, постепенно сделался тем, что до Беловежского сговора 1991 года именовалось «украинским сепаратистом».

Советское литературоведение назвало Капниста сентименталистом демократического толка. Разберем это определение.

Сентиментальность есть беспредметная чувствительность. То есть это любовь, но любовь духовно слепая, обращенная на второстепенные объекты в обход объектов существенно важных. Сентиментальность демократическая есть, очевидно, такого же невысокого духовного разбора – ненависть.

После Гоголя, открывшего, что правительство – это мы сами, отыскавшего в себе самом все «ужасы России», после славянофилов, сумевших вскрыть религиозные корни русского европейничанья, отделившего власть от народа, трудно всерьез увлечься мелодичными ламентациями Капниста по поводу «властей» и «царей», они же *«из счастливых людей несчастных и зло из общих благ творят»*. Тем самым «цари» и «власти», то есть современники и соотечественники поэта, люди большей частью незлые и благомыслящие, преобразуются во «врагов народа» времен Французской революции, в «красно-коричневых» современной России, в инопланетных чудищ из американского мультсборника. Психика подобных существ загадочна для нас; налогоплательщику достаточно знать, что все они безусловно вредны, отвратительны и неисправимы. Что если они не сдаются, их уничтожают. Что не сдаются они никогда...

В общем, я не вижу причин, по которым нам следовало бы теперь читать Капниста. Несмотря на то, что темы его переживаний (произвол чиновников, страдания народа) актуальны сегодня, как никогда раньше, творчество Капниста устарело еще больше, чем творчество Богдановича. Это все та же просветительская линия «помощи правительству», но уже без тени надежды на сотрудничество с ним. Капнист вполне сознательно хвалит императрицу именно за те качества, которых у нее нет и никогда не будет. Это не умеренная оппозиция – это вызов, предшествующий началу боевых действий. От белого каления Капниста уже рукой подать до Радищева и декабристов.

Павел I пригласил Капниста, обладал, позволил напечатать и поставить на сцене «Ябеду», совершенно невозможную в цензурном отношении и малохудожественную пьесу, но было уже поздно что-либо менять. Капнист закалился в горделивом отвращении ко злу – к тому наружному, фантастическому, неуловимому злу, которое не мы сами, которое ненавидеть так естественно, так легко и так, к сожалению, бессмысленно. Доброго плода это чувство принести не может.

Любопытно, что в споре о русском гекзаметре Капнист выступил оппонентом Гнедича и Уварова. Капнист считал, что Гнедич, ориентируясь на труды Фосса, немецкого переводчика Гомера, совершает ошибку – занимается «воскрешением Третьяковщины». Резкое, решительное выступление графа Уварова в защиту Гнедича только и убедило последнего продолжать начатое. Будь воля Капниста, мы бы имели «Илиаду», переведенную былинным размером: «Ой ты гой еси, божественный Гектор». (Кстати сказать, далеко не единственный случай в истории русской, да и мировой культуры, когда «вельможа» оказывался дальновиднее «певца» с его благородными чувствами и узким кругозором – и именно пользы-то приносил больше.)

Последний поэт из кружка Львова, о котором мы будем говорить, это Державин.

Но нелепо, конечно же, представлять Державина членом какого бы то ни было кружка. Державин есть Державин. Четвертый и последний классический автор русского XVIII столетия. Притом если мы говорили о редком уме Кантемира, о великой душе Ломоносова, о чистоте служения Хемницера (и эти великолепные качества, скажем так, обнаруживаются в их стихах – при внимательном чтении), то Державин прежде всего поэт, поэт по преимуществу. Главным в его стихах являются, безусловно, сами стихи.

Именно Державин стал первым в России поэтом, которого серьезная критика возвела в высший литературный ранг, признав его поэтом гениальным (Н. Полевой, 1833 год).

Но сегодня время наше закончилось, и я только прочитаю на прощание превосходную характеристику державинской поэзии, принадлежащую Гоголю; мы вместе подумаем над нею, а следующее чтение начнем с развернутого разговора о Державине.

«Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия».

«Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми».

«Исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его воодушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, – все скрипит как телега с невымазанными колесами, и стихотворение – точный труп, оставленный душою. Следы собственного неоконченного образования, как в умственном так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях».

1994

Чтение 3

Считается, что Державин в своем творчестве соединил две линии, по которым развивалась до него русская поэзия и о которых мы достаточно долго говорили на предыдущем чтении, – ломоносовскую и сумароковскую. Но знаете, как-то трудно говорить о *полном* соединении. Потому что Державин, унаследовав от Ломоносова размах, пафос, мощь созидающейся имперской государственности, слишком заметно уступает предшественнику в обдуманности и стройности своих творений. А что касается жанрового разнообразия, объединяющего Державина с Сумароковым, то тут приходится иметь в виду, что Державин, в отличие от Сумарокова, поэт очень неровный и, пробуя силы во многих жанрах, почти во всех жанрах, в которых он пробовал свои силы, писал слабо.

Тем не менее мысль о гениальности Державина (высказанная Н. Полевым главным образом для того, «*чтобы живых задеть кадиллом*» – лишний раз задеть Пушкина и Карамзина: «Гений – Державин, а не эти аристократишки») не вызывает у нас возражений. Безусловно, поэтическое вдохновение, посещавшее Державина, не хуже и не лучше вдохновения, посещавшего других великих поэтов. Оно точно такое же по своему достоинству.

Для романтика Полевого гениальность Державина заключалась по преимуществу в том, что он никого не слушал, а следовал всегда своим минутным настроениям, своим капризам, что и означает, по Полевому, – следовал своему вдохновению.

А вот что думал К. Аксаков о Державине:

«Мощный талант Державина метал иногда, из-под глыб всяческой лжи, молнии истинно русского духа».

Итак, Аксаков и Гоголь (если вы помните еще конец нашего предыдущего чтения) обнаруживают в стихах Державина смешение подлинной гениальности с «глыбами лжи». А эта ложь может быть объяснена недостатком у Державина умственного и нравственного образования.

И по Полевому это так, но с одной существенной оговоркой: Державин, видите ли, «истинный представитель гения России, дикого, неоконченного, неразвитого, но – могучего, как земля русская, крепкого, как душа русская, богатого, как язык русский!» То есть Державин не лживый и не малообразованный, он дикий – дикий и могучий. И могучий оттого, что дикий. Такова вся Россия.

Без недостатков образования, без «глыб лжи» не было бы и гениальности.

Во всем этом необходимо разобраться. Отступим немного и начнем разговор о Державине с самого начала.

В прошлый раз мы с вами вспоминали Богдановича, который первым у нас заговорил о милых пустяках: о женских платицах, обновках – заговорил вяло и прозаично, но тем не менее имел ошеломляющий успех. Читающая публика того времени знала достаточно твердо, что поэзией интересоваться должно, поскольку поэтов награждают, приближают ко Двору, поскольку сам Вольтер, сам Фридрих Великий занимаются стишками – таков дух времени, – но что поэзия может толковать о материях общедоступных, легких и приятных, что стихи могут быть занимательными – вот это явилось полной неожиданностью.

Державин первый заговорил о себе – о своем обеде, о своей жене, – заговорил с подлинным воодушевлением, с подлинным поэтическим огнем – и тоже имел успех, поскольку многие его современники имели жен и все без исключения обедали.

Для советской формальной критики (ОПОЯЗ: Эйхенбаум с Тыняновым и легионы их последователей), существуй она в ту пору, все в этой ситуации было бы предельно ясно: «литературный факт», то есть читательский успех, есть в обоих случаях, причины этого успеха надо исследовать, надо писать статью о Богдановиче, писать статью о Державине. (Если, конечно,

ученый совет утвердит заявку и партком поставит визу – без этого не стоит и затевать исследований, без этого статью не напечатают, и она не станет «литературным фактом».)

Нас интересует другое. Стихи Державина живут и сегодня, в то время как поэзия Богдановича давно уже стала музейным экспонатом. И сегодня, как двести лет назад, любой из нас, обедая или сражаясь с женой в подкидного дурака, может с помощью Державина почувствовать за всей этой обыденностью и рутинной – тайну, «соседство инобытия». Вот последнее-то нас и интересует.

Екатерина II, прочитав оду к Фелице, чему-то очень удивилась.

«Кто бы меня так хорошо знал, – говорит она наутро Дашковой, – что я, как дура, плачу?»

Удивляемся и мы. Потому что в «Фелице» – и каждый может в этом убедиться сам – никакого такого углубленного психологического анализа, рентгеновских лучей, – ничего этого в ней нет. Ну что, в самом деле, удивительного или нового в том, что Русская Императрица не ездит в Английский клуб? Пишет полезные указы? Стыдится походить на дикую медведицу? «И лес рубить не запрещает»?

Слов нет, Екатерина как женщина любила лесть. И была сентиментальна – как немка. Но при этом была она на редкость умным и трезвым человеком. И прежде чем расплакаться над «Фелицей», двадцать лет управляла страной, двадцать лет читала себе похвалы в стихах и в прозе. Сам Ломоносов, мы помним, почтил ее одой уже на десятый день правления. И о Петрове мы с вами говорили достаточно долго.

«Фелица» – произведение, в целом не выдержанное (как и все почти у Державина), но черты подлинного вдохновения, искры подлинного поэтического огня в этой оде выказываются щедро. Причем вдохновение поэта имело источником любовь к великой императрице, заочную, свободную от всякой корысти – духовную любовь.

И этого хватило. Императрица на короткий миг увидела себя преображенной, увидела (выражаясь высокопарно и, может быть, не совсем точно) Божий замысел о себе, свою *икону* – в общем, увидела то, что каждому человеку дается при крещении и что каждый человек на протяжении жизни омрачает, искажает, порою просто разбивает вдребезги... До самой смерти Екатерина Алексеевна не могла забыть пережитого: тормозила Державина, авансом награждала – надеялась на повторение чуда.

И тут мы воочию наблюдаем коренной порок искусства: духовное переживание, вызванное стихами, не приводит к улучшениям в духовной жизни. Духовное-то оно духовное, это переживание, но оно, очевидно, *не через те ворота входит*.

Екатерина не обратилась к посту и молитве, чтобы очиститься и сделаться достойной себя самой. Она прибегла к средствам реальным, цивилизованным: стала добиваться повторения прекрасного и потрясающего переживания при помощи золотых табакерок, бриллиантовых перстеньков, синекур, посыпавшихся на Державина как из рога изобилия.

Формула К. Аксакова: «Мощный талант Державина метал иногда, из-под глыб всяческой лжи, молнии истинно русского духа» – примечательна по меньшей мере в двух отношениях. Во-первых, это очень точный и картинный очерк всего державинского творчества. Во-вторых, мы получаем возможность, если Аксаков прав, изучать русскую духовность, узнавать о ней что-то важное – просто по стихам Державина. (Слова «истинно русский дух» могут быть пустой обмолвкой у кого-то другого, но не у Константина Аксакова, гегельянца и славянофила).

И вот мы начинаем вглядываться в державинские стихи и обнаруживаем на каждом шагу странное сочетание неряшества и силы.

Лучшие строфы Державина смело можно уподобить землетрясению – они сокрушительны. Они действительно раскалены и стремительно извергают каменные глыбы и языки пламени.

Вот он грозит неправедным Властителям:

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един Царем земли!

А вот – застывает в горестном недоумении над чьим-то телом, распростертом в новороссийской степи:

Чей одр – земля; кров – воздух синь;
Чертоги – вокруг пустынные виды?
Не ты ли счастья, славы сын,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ли с высоты честей
Незапно пал среди степей?

А этот набросок – поэтические поминки по Суворову:

Нет, не тиран, не лютый рок,
Не смерть Суворова сразила:
Венцедатель, славы Бог
Архистратига Михаила
Послал, небесных вождя сил,
Да приведет к Нему вождя земного
Приять возмездия венец,
Как луч от свода голубого.

Колоссальная энергия высвобождается в подобных стихах, и самое сильное чувство у их читателя, пожалуй, удивление – оттого, что все остается на месте: буквы, бумага, книга, и можно эти стихи снова и снова перечитывать.

Ну и перечитываешь – и тут же по соседству натыкаешься на такие, например, строчки:

Какое чувство в россиянах?
Восторг, восторг – они, а страх

И ужас турки ощущают;
Их мох и терны во очах,
Нам лавр и розы расцветают
На мавзолеях у вождей,
Властителей земель, морей, —

то есть натыкаешься на ребус. Причем невнятность содержания находится тут в правильном соответствии с мелодическим строем: стихи на редкость неблагозвучны.

И подобных строк в поэтическом наследии Державина несчетное множество.

Остается сделать вывод, что перед нами поэзия молодого народа – талантливой, но варварской. Полудикого. Вывод, достойный Французской энциклопедии, притом же – возвращающий нас к мнению Николая Полевого, от которого мы оттолкнулись, начиная этот разговор.

Но мы-то помним, что на момент рождения Державина Русская Церковь имела уже 881 год за плечами и говорить о молодости русской культуры в XVIII веке нам с вами неудобно.

Попробуем взглянуть на дело глазами самого Державина. Что думал он сам о значении поэзии и об обязанностях, налагаемых на поэта его призванием?

«Поэзия, – утверждает Державин, —

Приятна, сладостна, любезна,
Как летом вкусный лимонад».

То есть определенный смысл есть в поэзии, но, считает Державин:

Хранящий муж честные нравы,
Творяй свой долг, свои дела,
Царю приносит больше славы,
Чем всех пиитов похвала.

Дворянские долг и честь, служение Царю, служение Отечеству заведомо важнее любых стихов, а потому:

За слова – меня пусть гложет,
За дела – сатирик чтит.

Декларации Державина достаточно прозрачны, за ними сразу же обнаруживается плотный костяк монархического правосознания, которое, по мнению некоторых замечательных мыслителей прошлого, русскому человеку *врождено*. Пафос доверия к власти, пафос служения, верности, культ чести, культ ранга... Державин, имея огромное дарование, не становится его рабом, не становится рифмачом-специалистом, которому смысл и радость бытия заменяют «*ярко-невучие стихи*».

Невозможно представить себе Державина хлопочущим, подобно Батюшкову, над приданием русскому языку «музыкальных звуков», негодующим на неблагозвучную букву «БІ», на «Щ», на звукосочетание «ТРЫ»! Державина волнуют и вдохновляют Бог, Россия, русская императрица, русская военная слава («певцом величия» назвал его Гоголь). Державин влюблен в жизнь; нравятся ему и такие предметы, имена которых содержат букву «Щ» и букву «БІ»: щука с голубым пером, например. Он и в поэзии видит только часть жизни – неотъемлемую, достаточно скромную.

Но вот он умрет, и пройдет совсем немного времени после его кончины – семь лет, – когда Жуковский вдруг обнаружит, что в сущности-то:

Жизнь и поэзия одно.

Положим, Жуковский не собирался провозглашать это с такой резкостью и определенностью: у него все довольно туманно и, во-первых, не всякая жизнь имеется в виду, но только та жизнь, на которую поэзия наводит свой «животворящий луч»; а во-вторых, жизнь и поэзия соединяются в одно только в те минуты, когда вдохновение наводит животворящий луч «на все живое»... Примерно так это у него выглядит.

Жуковский отравлен тонкими ядами предромантизма, немецкой сентиментальностью отравлен и, по сути, грезит наяву. Чувствительность, в которую он погружен, не беспредметна, а прежде-предметна – она предшествует поэтическому акту, так что предмет подбирается уже потом, «под настроение». И получаются стихи, и прекрасные, – но можно ли сказать про них, что вот это и есть жизнь? Вся жизнь, без остатка? Тем не менее это было сказано, а главное – услышано было именно это, только это и запомнилось: «*Жизнь и поэзия одно*».

Державин, с его полунищенским казанским детством, с его разнообразным практическим опытом: он и рядовым солдатом прослужил десять лет, и не совсем чистой карточной игрой пробовал заниматься, даже человека повесил однажды (во время пугачевского бунта), – Державин никогда и не пытался навести животворящий луч поэзии на *весь* свой жизненный опыт.

Жуковский, мы помним, и смертную казнь хотел опозитизировать: как-нибудь так устроить, чтобы все участники экзекуции получали равную пользу и назидание. Державин не затруднился сам кого-то казнить (по военной необходимости), но зато он и знал твердо, что существует некий люфт между приятной, сладостной поэзией и жизнью, в которой не обойтись без военно-полевых судов и скотобоен, без правильно устроенных солдатских нужников, без ртутной мази, – что жизнь и поэзия, короче говоря, не совпадают полностью.

Русский здравый смысл, трезвость ума, стыдливость русской души, скрывающей за балагурством наиболее глубокие свои прозрения и переживания, свойственны были Державину в высшей степени, и он просто не мог попасться на такую элементарную приманку – не мог принять подслащенную картофельную водку за влагу из Кастальского ключа и, упившись ею, созерцать жизнь и поэзию в их единстве.

Мы с вами говорили уже не раз о великолепном презрении Ломоносова к Сумарокову, к этому человеку, который ни о чем, кроме бедного своего рифмачества, не думает. Остается только подверстать к Ломоносову Державина, вспомнить еще раз формулу: «*За слова – меня пусть гложет, за дела – сатирик читит*» и в заключение пожурить Жуковского за некоторую духовную вялость, за маниловское прекраснотушие – словом, за некоторую порчу, которая была им внесена в канон русской духовности.

Но мы этого делать не будем.

И вот почему. Екатерина II высоко ценила «слова» Державина (хотя русский язык не был для нее родным и каким-то выдающимся знатоком поэзии она не являлась), а вот «дела» Державина (а в делах императрица разбиралась, как никто другой) не приводили ее в восторг. Реквиемом по знаменитой державинской формуле звучат слова императрицы, записанные Храповицким: «В третьем месте не мог ужиться, надобно искать причину в себе самом. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи».

Дела Ломоносова, который сам, в одиночку стал русским университетом, создал мимоходом русский литературный язык, которого хотели, но не могли отставить от Российской академии, потому что Ломоносов больше весил, чем Российская академия, и дела Державина, который служил губернатором в Олонце, служил в Тамбове, заседал в Государственном Совете, всюду горячился, добивался справедливости, нигде ничего не добился, – эти дела несоизмеримы, конечно.

Великий современник Державина преподобный Серафим Саровский учил: «Стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется около тебя». Державин, по собственному хвастливому признанию, был «горяч и в правде чорт», то есть он не имел мирного духа. Не мог ужиться с несправедливостью, не мог служить с подлецами. Притом все его обижали: цари, вельможи, заседатель тамбовского земского суда Шишков. Награждали его недостаточно, непропорционально заслугам. Не давали развернуться...

Во времена Державина был в России такой А. П. Крылов, бедный драгунский капитан, который при приближении Пугачева заперся с горсткой людей в Яицком городке и три с половиной месяца выдерживал осаду – без припасов, без надежды, без экзальтации. Городок

отстоял, вышел по болезни в отставку и вскоре умер, оставив вдове и двум малолетним сыновьям честное имя. Вдова хлопотала еще о пенсии – пенсии почему-то не дали. Тогда она занялась чтением Псалтыри по покойникам, как-то сама продержалась и детей подняла. Старшего сына Марии Алексеевны Крыловой вы все хорошо знаете – это наш Крылов, баснописец.

Получается, что драгунский капитан А. П. Крылов служить мог.

Во времена Державина жили еще в России Безбородко, Панин, Воронцов, Оленин, кавалерист-девица Дурова, флотоводец Ушаков, другие многие – эти все тоже могли служить. Державин служить не мог, очень уж остро чувствовал несправедливость. Рассмотрим несколько примеров этой его чувствительности.

Тридцатилетний Державин принял посильное участие в военных действиях против Пугачева, сумел дважды ускакать на лошади от встретившихся ему неприятельских разъездов (то есть мог и погибнуть), но при распределении наград столкнулся с несправедливостью: имение, пожалованное ему, «было относительно невелико» (оценка произведена Д. Благим), триста душ всего, и неудобно расположено, да и чин достался ему незначительный, шестого класса. Другие получили больше.

Семидесятилетний Державин горько жалуется на эту несправедливость в своих «Записках».

Страдать за правду нелегко, но думающий человек в любых обстоятельствах сохраняет внутреннее равновесие. Так и Державин, в начале царствования Александра I выключенный из числа членов Государственного Совета (но оставшийся сенатором и получивший через год должность министра юстиции), снес эту несправедливость «равнодушно и после утешился, когда избранными в Совет членами, после его отставки, доведено стало государство до близкой в 1812 году гибели».

Закончим разговор о служебной деятельности Державина на этой безумной фразе (извлеченной из тех же «Записок»).

Думается, нам всем более или менее понятно, что Державин, при огромном самомнении его, при вспыльчивости, при совершенно недостаточной для государственного деятеля такого масштаба начальной подготовке, просто не мог служить успешно. Бывает и такое, большого греха в этом нет. Не каждому дается служба. Только при чем здесь: «*За дела – сатирик читит*»?

А если мы обратимся теперь к делам Жуковского: издание ли это образцового для своего времени журнала, успех ли его поэтической миссии «во стане русских воинов» вблизи Тарутина, помощь ли писателям, имеющим значение *мировое*, – разнообразная и действенная помощь, которую он сумел оказать Пушкину, Баратынскому, Гоголю, – перевод ли «Одиссеи», остающийся до сих пор лучшим в нашей литературе, воспитание ли для России царя (и не самого плохого в русской истории), – то мы увидим, что и Жуковский, не становясь, может быть, вровень с Ломоносовым, все же далеко превосходит Державина значимостью своих дел.

И нам ничего уже не остается, как заговорить о «глыбах лжи», то есть о технической стороне державинской поэзии.

Существует рассказ о том, как Капнист и Дмитриев по просьбе самого Державина готовили к печати первую книгу его стихов.

Гаврила Романович вошел в комнату, в которой поэты занимались пересмотром и сортировкой стихов, увидел, что для печати «отложено небольшое число пьес», взял и опять все перемешал, сказав: «Что ж, вы хотите, чтобы я снова начал жить!» Тем дело и кончилось.

Поступок впечатляющий, конечно, поступок в духе Александра Македонского или Цезаря, – но ведь и последствия такого рода поступков достаточно однозначны.

Попробуйте назвать хотя бы пять-шесть стихотворений Державина, которые были бы лишены каких-то выдающихся технических изъянов. Это трудно сделать.

«Снигирь», перевод 81 псалма, «Река времен в своем стремленьи...», стихи на смерть князя Мещерского, «Лебедь»...

Трудно, очень трудно. То есть сортировку можно и продолжать, но, занимаясь поисками очередного шедевра, вдруг замечаешь, что одно или даже два стихотворения из числа отобранных раньше успели перейти опять в разряд «не выдержанных».

Нехотя вспомнишь синтаксическую головоломку из «Снигиря»:

Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей...

Из «Лебедя» всплывет в памяти не совсем удачное место: это когда народы, составившие россос род, вдруг показывают пальцем на летящего в небе Державина и произносят:

Вот тот летит, что, строя лиру,
Языком сердца говорил,
И, проповедуя мир миру,
Себя всех счастьем веселил, —

чувства тут хорошие, но просодия хромает нестерпимо...

Ничего не получается! Есть поэт Державин, поэт выдающийся, но что касается «Стихотворений Державина», то такой книги нет, она так и не появилась.

Драгоценная руда и пустая порода до того перемешаны в стихах Державина, что рядовому любителю поэзии лучше и не подходить к ним, тут нужен рудокоп: здоровяк и специалист.

Мы с вами говорили на первом чтении о том, что в поэтическом акте соединяются божественное и человеческое, вдохновение и ремесло, — Державин все это опять разделил: упоение и восторг взял себе, а труд, изнурительный и неблагодарный, препоручил читателю.

За три дня до смерти Державин начал писать большое стихотворение «На тленность», но успел сочинить только восемь строк, которые были потом найдены, опубликованы и приобрели широкую известность — вполне заслуженную, надо сказать. Они прекрасны.

И прекрасно то, что Державин, гениальный лирический поэт, находясь в зените славы, окруженный любовью, почтением, восхищением современников, закончил свое поприще словами:

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы, —

то есть до конца сохранил духовную трезвость, духовное мужество.

Стихи не вечны.

А перед вечностью все прах, все вздор. И если не стоит уповать «на тщетную власть князей земных» (как учил вслед царю Давиду Ломоносов), то и на пленительную власть поэтов, сынов гармонии, надеяться тоже не стоит.

«Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Не философов и ученых», — записал Паскаль в минуту озарения, перевернувшего его жизнь.

«...И не поэтов», — как бы добавляет Державин от своего жизненного опыта.

Вот первое соображение, которое приходит на ум по поводу превосходного зачина предсмертного державинского стихотворения «На тленность». Второе заключается в том, что будь эта вещь Державиным закончена, он, несомненно, сумел бы ее испортить, и вот эти восемь строк — они просто потускнели бы и затерялись в окружении вымученных и уродливых стихов, которыми так пестрит поэтическое наследие Державина.

А вот что он сам думал о своем творческом пути: «Я хотел парить и не мог постоянно выдерживать красивым набором слов свойственного единственно российскому Пиндару велепия и пышности. Для того в 1779 году избрал я совершенно особый путь, будучи предводим наставлениями Баттё и советами Львова, Капниста, Хемницера».

Державин прав в том, что ему не судьба была парить вслед Пиндару-Ломоносову, который, по слову Гоголя, «всю русскую землю озирал с какой-то светлой вышины», но он самообольщается, когда полагает, что горацианская «золотая середина», которой проповедником в Новое время и был Баттё, хоть сколько-нибудь ему далась.

Слишком поздно попал он в образованный круг, слишком поздно начал учиться и пользоваться советами Львова, Хемницера, Оленина... Он пришел в литературу сформировавшейся личностью – и личностью достаточно грубой.

Державин не был никогда «культурным человеком» – вот о чем хочется сказать с полной определенностью.

И неряшество, поэтическое и житейское, свойственное Державину, нередко огорчало его более культурных, более просвещенных друзей.

В одном из писем к Капнисту Львов сообщает последние новости о «нашем искреннем приятеле», то есть о Державине, который написал замечательно дурные стихи и, как ни советовал ему Николай Александрович «много вычеркнуть, кое-что поправить», оставил все как было.

Дальше следует экспромт Львова:

Но можно ль удержать советом бурю
Такого автора, который за столом
В беседе и с пером
Все любит тюрю, —

а потом окончание письма: «Ты утешаешь его стихами о потере Катерины Яковлевны, несравненной сея жены; потому что он говорит – я не хочу учиться... и для того Дарья Алексеевна хочет итить за него замуж. Ну-ка, кто скажи что действительно?»

Первая жена Державина, которую очень любили и ценили в кружке Львова, которую сам Державин воспел в трогательных стихах под именем Пленеры, умирает в июле, а Дарья Алексеевна, свояченица Львова и член того же дружеского кружка, становится женой Державина в январе. Всего лишь полгода пробыл Державин на положении вдовца: явились потребности... проблемы, связанные с крепостью телесного состава... дух немощен, плоть бодр... что ж, вы хотите, чтобы я снова начал жить?!.. Тонкого Львова все это коробит.

И вот он в сердцах подравнивает Державина к фонвизинскому Митрофанушке.

Сходство, может быть, и есть – микроскопическое. Но только Державина оно не роняет. Торопится ли он заключить второй брак, опасаясь во вдовом состоянии впасть в разврат, отказывается ли править «средственны стишки», хладнокровно полагая, что и такие стишки на что-нибудь сгодятся, вкушает ли с удовольствием тюрю – во всех этих случаях он никакого греха не совершает. Даже и тени греха здесь нет.

Нам понятна досада Львова; понятно и то, что досада такого рода проходит без следа за несколько дней. Не надо ее драматизировать.

Они друзья, Державин и Львов, и каждый в глубине души спокоен за другого, каждый знает, что его друг – благородный человек, благородный дворянин, имеющий прямое понятие о долге и честные правила... После смерти Львова Державин возьмет к себе в дом трех его дочерей, будет хранить память о друге, молитвенную память – вот это важно, а чистота отделки стихов, гастрономическая эрудиция, отменные манеры, тонкий вкус – это все так, томление духа дворянского, «забывшегося от счастья» после 18 февраля 1762 года.

К концу XVIII века секуляризация русской жизни достигла, пожалуй, наивысшей отметки за всю предыдущую (да и последующую) историю России. И культура Львова, Оленина, Ивана Дмитриева – это культура петербургская, европейская. Культура беспочвенная. Традиционный уклад сохраняется в провинции, в медвежьих углах, но и там лишен санкции земных властей на свое существование, осмеивается зубастыми столичными сатириками и дичает в пугливом отчуждении.

(Никто еще не догадывается о том, что Митрофан, его шальная матушка, Еремеевна – это и есть ближние, каких Бог нам дал, живые люди, грешные, как и мы сами, а все эти Правдины, Стародумы и проч. – сочиненные головные схемы, проклятые манекены из витрины галантерейного магазина – и к ним просто *опасно* привязываться.)

Петровские реформы удались, гигантская стройка заканчивается – вот только здание пока стоит отдельно от фундамента. Чуть в стороне. Считается, что фундамент со временем сам как-нибудь заберется под строение, привлеченный совершенством пропорций и изяществом внутренней отделки.

Никто уже не вспоминает о том, для чего задумывалась при Алексее Михайловиче, для чего велась при Петре Алексеевиче эта колоссальная стройка.

«Отстоять твердо гонимую веру» никак не входит в планы Оленина или Львова. Да и кто ее гонит? Россия сильнее всех и способна сама согнуть в бараний рог кого угодно, а вера... Кто же всерьез думает о таких вещах!

Львов проектирует иногда и православные храмы: ставит, например, на традиционном четверике звонницу, а на звоннице – ротонду, ажурную беседку, игрушечку... Или строит храм в форме кулича, окружая русский кулич ионическими колоннами... Чудные эти строения сохраняются до сих пор, до сих пор возносятся в них моления «за создателей святого храма сего»: настолько уже изощренным мастером был Николай Львов, что в церквах, построенных им, можно при желании и богослужение совершать – хотя, конечно, не это в них главное.

Строит он и приоратский дворец в Гатчине – для мальтийских рыцарей. Почему нет?... Перед зодчим стояла сложная техническая задача – он и решил ее блестяще: создал землебитный дворец, который стоит уже двести лет в сыром петербургском климате, вызывая тем самым почтительное недоумение у специалистов. А только это и было интересно Львову: выстроить из местных материалов достаточно прочное и долговечное землебитное здание. Цели мальтийского ордена, цели католической церкви, тысячелетняя ненависть Рима к Константинополю и Москве, сама «тайна беззакония» – весь этот круг вопросов мог восприниматься Львовым и его единомышленниками, русскими европейцами, лишь как забавный анахронизм, как пережиток темной эпохи, безвозвратно канувшей в прошлое.

А вот молодой Державин, «как воспитан он был в страхе Божиим и родительском», то и послушался советов «тетки по матери двоюродной, Феклы Савишны Блудовой», и порвал завязавшиеся было отношения с масонскими кругами. Он и впоследствии, будучи в силе и в славе, умудрялся не иметь с масонскими сектами ничего общего.

Державину просто повезло. Высокая его покровительница Екатерина II относилась к масонам не лучше, чем Фекла Савишна Блудова. Болотову, Мотовилову отказ вступить в тайные общества стоил карьеры – ну, правда, и приобрели они взамен немало...

Болотов, Державин, Мотовилов – в самой внешности их есть что-то общее, выражающее прежде всего прямодушие, искренность, мужественную твердость:

О русский бодрственный народ,
Отечески хранящий нравы!
Когда расслаб весь смертных род,
Какой ты не причастен славы?

Вскользь заметим, что было бы напрасным трудом искать отблесков этой славы на тонких, окутанных меланхолией лицах Хераскова, Львова, молодого Карамзина, Жуковского.

К середине XIX века в России появятся деятели культуры, миряне, в которых высшее европейское просвещение и «отечески нравы» соединятся: сольются в горниле твердого церковного Православия и образуют сплав, по прочности и ценности не уступающий алмазу. Во второй половине XVIII века синтез еще невозможен: время не пришло, не вызрели предпосылки, в Державине вкус к западноевропейской литературе и верность отеческим преданиям пока просто соседствуют – не смешиваясь, не враждуя. Отсюда все шероховатости державинской поэзии, отсюда и ее жизненность.

Ближайшие два поколения поэтов – Карамзин и Дмитриев, Озеров, Батюшков, Жуковский – станут вполне уже европейцами, и, скажем, Дмитриев в старости больше француз, чем одичавшие за годы революции и империи современные ему французы – Дантесы, Кюстины, Растиньяки. Именно поэзия Державина стала мостиком, перекинутым в будущее: к «Беседе» адмирала Шишкова, к Крылову, Грибоедову, Катенину, к зрелому Пушкину – вот настоящие наследники Державина. Опыт Державина, авторитет и обаяние его имени оказались совершенно незаменимым подспорьем в той литературной борьбе, которая продолжалась десятилетия и увенчалась созданием русской классической литературы – последней по времени (а по достоинству, вероятно, первой) литературы в череде великих национальных литератур прошлого.

Наш разговор о Державине слишком затянулся, приходится его сворачивать. Конечно жаль, что о многих особенностях державинского стиля (метафоричность, «словесная живопись») мы не успели поговорить. Но гораздо грустнее то, что разговор наш об этом удивительном поэте – в целом – не состоялся.

Совсем не так следовало бы говорить о нашем «невинном, великом Державине» – в другом тоне, даже и другим языком. Где только их взять? Кто у нас сегодня владеет пламенным словом Языкова или Дениса Давыдова?

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы, —

вот готовая характеристика поэта и его эпохи.

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки, —

а это уже про нас.

Золотое детство Новой русской литературы только попусту тревожит и смущает нас, благополучно доживших до собачьей старости литературы всемирной. Неразвращенный вкус, бодрый ум, порывистые движения, звучный голос – куда деть все это, к чему применить? Нас этому не учили.

«Ты в лучшем веке жил...» – негромкие, мудро-совестливые слова Баратынского, обращенные к Богдановичу, объясняют достаточно много и в нашем отношении к Державину. Примениться к его внутреннему опыту, постигнуть нравственную причину многих его радостей и скорбей для нас так же трудно, как трудно принять на свой счет иные места Книги Бытия. «По рождении Иареда, Малелеил жил восемьсот тридцать лет, и родил сынов и дочерей... Мафу-

саил жил сто восемьдесят семь лет, и родил Ламеха...» – превосходно, но теперь не живут столько и намного раньше вступают в брак.

Постарайтесь хотя бы не забывать о том, что был у нас Державин – небывалый, невероятный поэт. И пусть не сбылось предсказание Пушкина, что Державин, переведенный, удивит когда-нибудь Европу; современную Европу может удивить разве что пластмассовая погремушка *уникальной* конструкции, изготовленная по *высочайшей* технологии. Давайте радоваться тому, что мы – русские и можем на родном языке прочесть сегодня и перечесть завтра:

Необычайным я пареньем
От тленна мира отделись,
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.

В двойком образе нетленный,
Не задержусь в вратах мытарств;
Над завистью превознесенный,
Оставлю под собой блеск царств.

Православный человек, Державин знает о мытарствах все, но и воздушные мытарства не пугают его в минуту вдохновения. (Поэты вообще умирают легко – конечно, в стихах, а не на деле – и проходят мытарства без запинки. Это профессиональная болезнь: свое дарование, радость творчества, минуты душевного подъема, душевной легкости поэт начинает воспринимать как некий аванс, выданный в счет бесспорных будущих благ. «*Ужели некогда погубит во мне Он то, что мыслит, любит...*» – ясно же, что не погубит. Совершенно бесподобно стихотворное пожелание, адресованное одним поэтом в горние сферы: «*В минуту вдохновенья хотел бы я на Божий суд предстать!*»!)

Не заключит меня гробница,
Средь звезд не превращусь я в прах;
Но, будто некая цевница,
С небес раздамся в голосах.

И се уж кожа, зрю, перната
Вкруг стан обтягивает мой;
Пух на груди, спина крылата,
Лебяжьей лоснюсь белизной.

Лечу, парю – и под собою
Моря, леса, мир вижу весь;
Как холм, он висится главою,
Чтобы услышать Богу песнь.

Огромный земной шар наплывает на нас, висится над нами, как холм, круглой курчавой своей главою – зачем? Что ему нужно от нас? А вот ему нужно услышать оду «Бог», написанную сорокалетним русским поэтом в Нарве, в небольшом покойчике, нанятом специально для этой работы у одной престарелой немки «с тем, чтобы она ему и кушанье приготавливала...»

Неплохо, правда?

На рубеже столетий происходит стремительная смена литературных стилей, начинается радикальная ломка привычных, устоявшихся правил и норм. В литературе, как и в жизни, все запутывается и усложняется. Пушкин, например, по образованию и воспитанию – французский классик, но приобретает литературную известность как романтик, отдает честь классицизму, достаточно рано приходит к реализму «фламандской школы», сентименталист Дмитриев его переживает.

Постараемся разобраться в этой путанице, как-то определиться со стилями, хоть это и нелегко будет сделать.

В цитате из державинского «Рассуждения о лирической поэзии», которую мы только что разбирали, промелькнуло имя Баттё – не первый раз уже в наших чтениях. Попробуем для начала поговорить о Баттё, о классицизме, о поэтике вообще.

Первая поэтика (притом сохранившая значение до настоящего времени) была написана Аристотелем, стремившимся в своей работе развить и откорректировать более раннее учение Платона.

Согласно Платону, идеи первичны, чувственные вещи только подражают божественным идеям, художник же подражает чувственным вещам. Художник у Платона оказывается «третьим от истины», снимает копии с копий.

Вслед за Платоном Аристотель видит родовую сущность всех видов поэтического искусства в подражании. Но поэзия, по Аристотелю, способна подняться над изображением эмпирических фактов, заговорив об *общем*. Если история, например, говорит только о том, что было («что сказал Алкивиад»), то поэзия способна сказать и о том, что могло бы быть – в соответствии с правдоподобием и необходимостью. («Что сказал бы Алкивиад, не будь он честолюбцем». «Что сказали бы на его месте Патрокл, Терсит, Мильтиад». «Что *должен* был сказать Алкивиад».)

Платон изгоняет поэтов из идеального Государства. Поэзия социально тлетворна, так как через наше сопереживание подпитывает неблагоприятные эмоции и влечения души. (Здесь Платон в значительной степени предвосхищает учение Церкви о первородном грехе: интуиция и воображение художника суть «добродетели падшего естества» и сами по себе – сами из себя – не могут способствовать улучшению человеческой природы. Грязный стол не вытрешь дочиста грязной тряпкой).

Аристотель отвечает учением о трагическом катарсисе (очищении). «Трагедия есть подражание <...> через сострадание и страх приводящее к очищению». (Кажется, не все понимают, что тут речь идет об очищении души от аффектов, а не о просветлении или реабилитации самих аффектов).

Учение о трагическом катарсисе всегда имело много сторонников в околотеатральной среде. Оттуда уже «катарсис» (с ударением на втором слоге) проник на телевидение, на радио, так что у современного человека редкий день обходится без столкновения с этим тяжеловесным словом.

К сожалению, сам я почти не бываю в театре, и мне трудно оценить учение Аристотеля о трагическом катарсисе. Охотно допускаю, что случаи очищения через сострадание и страх происходят в зрительном зале ежедневно, если не ежечасно, – но кажется, что очищение души, достигнутое столь нехлопотливым и сравнительно недорогим (цена билета) способом, не бывает особенно долговечным.

Трактат «Об искусстве поэзии» сохранился не полностью, и мы не знаем, какие аргументы приводил Аристотель в защиту лирической поэзии – и приводил ли их вообще.

Идеи Аристотеля легли в основание поэтики Горация и, при ее посредстве, стали фундаментом таких выдающихся памятников французского классицизма, каковы «Поэтическое искусство» Буало (1674 г.) и «Начальные правила словесности» Баттё (1747 г.). Вот о последней работе поговорим подробнее: это аттестат зрелости европейского классицизма.

Принцип подражания прекрасной природе сохраняется здесь: «Одна природа есть предмет всех искусств». Но понятие природы наполняется чрезвычайно богатым содержанием: природа у Баттё четырехчастна. Во-первых, это мир, в котором мы живем: вселенная физическая, вселенная нравственная и вселенная политическая. Во-вторых, это исторический мир, мир прошлого («*В воспоминаниях мы дома...*»). В третьих, мир баснословный, мифологический – мир олимпийских богов и вымышленных героев. И наконец, «мир идеальный или возможный».

Согласитесь, что подражание природе, понимаемой настолько широко, есть уже задача творческая. Но подражать не значит копировать – в этом Баттё тоже следует за Аристотелем. Копия мертва, поэтому копирование живой природы есть ее умерщвление. «Подражание есть то, в чем природа видна не такая, как она есть в себе самой, но какую ей можно быть и какую разум понимать может». Таким образом, художник под контролем разума создает **возможный** мир. Из частей живой природы, воспринятых им в разное время, в разной обстановке, в разных душевных состояниях, он позднее, в минуту вдохновения, создаст такое целое, которое будет «совершеннее самой природы, не переставая, однако ж, быть натуральным».

Высший критерий эстетики доступен разуму – вот самый важный, самый капитальный пункт теории Баттё. Все эти опьяняющие, душегрейные творческие состояния – «озарения» и «экстазы» – не принимаются на веру ученым аббатом. Изображения, «противные естественным законам», отвергаются. Баттё знает, что «исступление» художника нередко оборачивается его «унижением» и «безумием».

(Тем самым устанавливается заслон на пути воздействий, которые, вы помните, привели к такому плачевному провалу киево-печерского затворника Никиту, – то есть на пути воздействий демонических. Правда, православная традиция знает, что и разуму человеческому, поврежденному в результате грехопадения, нельзя доверяться всецело. Но для отпавшего Запада теория Баттё может считаться образцом духовной трезвости.)

И наконец, из всего вышесказанного вытекает идея общественной полезности искусства. Окончательная формула Баттё: «Искусства для того подражают прекрасной природе, чтобы нас прельщать, возвышая нас в сферу, совершеннейшую той, в которой мы находимся».

Довольно симпатичная теория – уравновешенная, разумная; в России ее пропагандировал и развивал Мерзляков, учитель (по Московскому университету) Грибоедова, Тютчева и Лермонтова, во Франции – знаменитый Лагарп. Именно на этой теории воспитаны Крылов и Катенин, Пушкин и Баратынский...

И рухнула она не из-за каких-то внутренних нестроений и противоречий, а просто потому, что жизнь, породившая и после подпитывавшая, подпиравшая эту теорию, – она иссякла, ушла. Франция, достигшая высшей славы под скипетром Бурбонов, не может больше выносить «монархии прочной, серьезной, требующей подчинения любви», и затемняется отвратительным кровавым балаганом так называемой Великой французской революции.

В эстетику проникают новые идеи – германские.

Кант вводит в основание науки о красоте утилитарный принцип удовольствия; а принцип подражания прекрасной природе, мирно просуществовавший более двух тысяч лет, отмирает у него сам собою, поскольку действительность непознаваема и природа как вещь в себе для нас закрыта. Гегель отрывает эстетику от земли, трактует историю человеческой культуры как историю самораскрытия Духа, учит, что «искусство должно сделать центром своих изображений божественное».

И эти идеи дают значительный тактический выигрыш, привлекают в сферу искусства дополнительные силы, подключают дополнительные энергии, но стратегически – это начало конца, начало разложения и гибели искусства. Со временем «удовольствие» Канта-читателя неизбежно заменится «удовольствием» читателя комиксов, «божественному» Гегеля придет на смену «божественное» Е. П. Блаватской.

Комикс и Блаватская демократичнее, дают больше потрясающих переживаний на вложенный грош, и окончательное их торжество абсолютно неизбежно в эпоху братства-равенства-свободы, когда «начальство ушло», а точнее сказать – когда насильственно был устранен всякий авторитет, не дававший третьему сословию распоясаться, удерживавший рыночные отношения в ограде рынка, кабацкие – в стенах кабака.

Среди таких Удерживающих на Западе была особенно заметна в течение долгого времени великая классическая традиция, опиравшаяся на Аристотеля, Августина, Аквината.

Любой первокурсник возразит на это, что классицизм во Франции выродился задолго до революции, что во второй половине XVIII века эпигоны классицизма занимались даже не копированием природы, но копированием античных произведений искусства, признанных образцовыми (то были, как правило, хорошие римские копии с утраченных греческих подлинников), что именно во Франции, в цитадели классицизма, вызрела просветительская идеология и т. д. и т. п.

Разумеется, первокурсник прав, и классицизм – только срединное звено в довольно длинной причинно-следственной цепи, которая выковывалась на христианском Западе после его отпадения от Вселенской Церкви. Нас питает и животворит совсем другая традиция, восходящая от Оригена к великим каппадокийцам, получившая последний мощный импульс в учении св. Григория Паламы.

И все-таки классицизм – это не рядовая веха в истории непрерывно меняющихся литературных и художественных стилей, а поворотный, ключевой пункт в истории западной культуры. И вот почему.

Классицизм был актуален в европейском искусстве почти двести лет, корни классицизма, как мы убедились, были протянуты в глубину тысячелетий; при его разрушении высвободилась колоссальная энергия. Именно этой энергией пропитан европейский романтизм. Но ведь недавно сложена поговорка «Ломать – не строить». Романтизм был хорош в оппозиции, а победив, выдохся лет за тридцать и при этом не оставил после себя ни одного произведения, которое могло бы считаться (в рамках нового стиля) образцовым, классическим. Шекспир, во имя которого романтики сокрушали стеснительные правила классицизма, так и остался Шекспиром, романтики – романтиками, понятием собирательным. Потом литературные стили мелькают уже, как в калейдоскопе; наконец мы нечувствительно оказываемся в сегодняшнем дне, когда нам остается только перетасовывать обломки: пристраивать на русскую печь, оставшуюся от сожженной избы, обломок греческой капители и утешаться остротой такого сочетания.

Это-то конструирование новых ценностей из наличных обломков именуется сегодня звучным термином «постмодернизм», хотя и совпадает, до мельчайших даже деталей, с досужим развлечением обезьян Бандар-Логов, описанных Кипплингом в известной сказке.

Ломать больше нечего, строить – с самого начала, по кирпичику – нет ни энергии, ни плана. Похоже, что процесс модернизации классицизма оказался несколько односторонним и вполне необратимым.

Г. Макогоненко определяет коренной недостаток классицизма следующим образом: «Правда должного, а не сущего». Безусловно, отличительная особенность классицизма заключается именно в этом, но является ли эта особенность недостатком – большой вопрос.

Вот, например, грех. И порождение греха – смерть. Их не должно быть, но они существуют. Обязаны ли мы признавать их *правду*, служить этой правде, поклоняться ей? Только об этом спорим мы сейчас с Г. Макогоненко, поскольку от изображения греха классицизм никогда не уклонялся, как и от изображения маленькой человеческой правды, которая присутствует в каждом грехе в виде скрывающей жало приманки. Но классицизм, помимо этих изображений, твердо исповедовал высшие, надличностные принципы, в первую очередь – принцип долга. Вот за это его и упразднили.

Хочется ведь служить своим прихотям, культивировать самые дикие свои фантазии, самые мелкие капризы – и одновременно с этим жить в Истории, прикасаться к Абсолютному... Хочется верить, что есть сущее вне должного.

Но мы опять отвлеклись. На очереди у нас – русский сентиментализм.

Его расцвет приходится на узенький временной промежуток между 1790-м (год возвращения Карамзина из заграничного путешествия) и 1806 годом, когда Дмитриев, находясь в расцвете сил, вернулся в Сенат и простился с поэзией. (Карамзин написал последнее свое стихотворение в 1814 году, но фактически отошел от поэзии на одиннадцать лет раньше.)

Короткое и мирное царствование русского сентиментализма протекало на фоне грандиозных исторических перемен. За эти несколько лет авторитетнейшая монархия Западного мира провалилась в полуподвальную область буржуазных отношений, образовавшаяся воронка грозила затянуть в себя весь мир. Центр тяжести Европы, центр европейского равновесия перемещается на Восток.

Мефистофель у Гёте объявляет себя «частью той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Не стоит верить на слово черту, обманщику и клеветнику, но, когда происходит исторический сдвиг *такого* масштаба, добро и зло действительно начинают двоиться, и правильно оценить происходящее становится неимоверно трудно.

Рухнул классицизм, провалилась Франция – и это горестно, это непоправимо. Но провалилась и просветительская вера в разум, в изначальную доброту человеческой природы, рухнул просветительский оптимизм – и это не может не радовать.

Романтизм насквозь пронизан дьявольскими энергиями разрушения, но он же выражает и ностальгию по цельности европейского прошлого – по той цельности, которая сложилась задолго до 1054 года и сохранялась в значительной степени до Реформации: романтизм одним из своих ликов обращен в средние века.

Из кровавой утробы Великой французской революции рождается Наполеон, в котором церковное сознание видит одного из ярчайших предтеч антихриста (подробнее об этом можно прочесть у Нилуса: «На берегу Божьей реки», ч. 1), но возникает и реакция на насильственное потрясение мирового порядка – контрреволюция, и Итальянский поход Суворова есть одна из самых блестящих, самых поэтичных страниц мировой истории. Бонапарт четыре года кропотливо трудится над завоеванием Италии, четыре года молодые офицеры французской армии сеют в Италии передовые идеи (отбирая взамен серебряные ложки) – Суворов освобождает страну за четыре месяца, встречает Пасху в Милане, уча пленных революционных генералов чисто выговаривать по-славянски: «Воистину воскрес!» – дарит австрийцам захваченные у общего врага пушки («Где им взять? А мы еще заберем») и уходит умирать на Крюков канал к своему доброму приятелю графу Хвостову – уходит через Альпы, налегке, в родительской шинели и с языком пламени над головой, как то изображено на знаменитой картине Сурикова. Менее известны почему-то задушевные строки Пушкина, обращенные к французскому поэту-бонапартисту:

Ты помнишь ли, как за горы Суворов
Перешагнув, напал на вас врасплох?
Как наш старик трепал вас, живодеров,
И вас давил на ноготке, как блох? —

хотя стихи эти, по-моему, являются необходимым дополнением к последнему подвигу Суворова, завершают его в слове точно так же, как эпитафия Симонида завершила и увенчала славное дело при Фермопилах.

И вот эта раздвоенность, всегда проявляющаяся в роковые минуты истории, хорошо известна соборному разуму святой Православной Церкви. «Когда умножился грех, стала преизобилывать благодать», – читаем у апостола Павла.

Для людей, ищущих Бога вне церковной ограды и читающих Писание без стесняющих воображение святоотеческих очков, именно эти слова апостола нередко становились камнем преткновения. Древнейшая ересь николаитов, наиболее отвратительные секты сирийского гностицизма – каиниты, сифиты, адамиты – сходились на том, что грешить нужно как можно больше: тогда, мол, и благодать изольется немерено... Воззрение, никогда не исчезавшее окончательно, к сожалению. В сущности, это только вариация на тему второго искушения Спасителя: «Бог тебя любит, ангелы подхватят – скорей бросайся с крыши вниз». А без этого героического прыжка, добавляет черт шепотом, вовек не приблизятся к тебе ангелы. Кто не рискует, тот не выигрывает и т. д.

Достоевский, необычайно глубоко чувствовавший диалектику отношений света и тьмы, показал в своих романах действие благодатных сил, легко и удобно проникающих в самые грубые, закосневшие в греховных привычках сердца, – и все эти Мармеладовы, Снегиревы, Митя Карамазов, Шатов никак не потеряны для Божьего милосердия. Но Достоевский показал и путь Ставрогина, Свидригайлова – путь людей, богато наделенных благодатными дарами, но употребивших их на войну против Бога, сумевших с их помощью погубить себя полнее и окончательнее, чем то удастся рядовому, недаровитому грешнику.

В России задолго до грозы двенадцатого года начинается невидимая подготовка к этому испытанию, происходит таинственное движение благодатных сил, их перераспределение и концентрация.

В 1779 году при общем ликовании вступает на престол Людовик XVI – и тут же, как бы случайно, против воли, великий старец Паисий Величковский оказывается вблизи российской границы, в Нямце. И здесь же оказываются десятки русских монахов, которые переживают в православных Молдавии и Валахии тот период гонений на монастыри, о котором мы говорили в прошлый раз. Гонения скоро ослабнут, монахи вернутся на родину – но вернутся уже учениками святого Паисия.

А в ноябре 1778 года происходит совсем уже незаметное событие: купеческий сын Прохор Мошнин поступает послушником в Саровскую пустынь.

Гроза двенадцатого года еще дремлет, но уже и в самой России при взгляде со стороны многое начинает двоиться. Центром сентименталистской эпохи является трагическая личность императора Павла, в котором чистота помыслов и редкое душевное благородство омрачались больше и больше грозной психической болезнью; в центре литературы оказывается двоящаяся фигура Карамзина.

Молодой Карамзин – республиканец, западник, масон. И к этим радикальным достижениям приводит его симпатия к просветительскому идеалу свободной, гармонически развитой личности. Но уже в 1811 году Карамзин, сохраняя все идеалы юности, оказывается в охранителях, в консерваторах, выступает противником либеральных реформ, задуманных императором Александром.

Здесь мы наблюдаем непосредственно картину происходящего исторического перелома: часовой армии свободы мужественно остается на посту, а мир поворачивается – и переносит его вместе с охраняемым постом во вражеский стан. Восемь лет непрерывных триумфов наполеоновской военно-административной машины, восемь лет углубленных занятий русской историей привели Карамзина к неожиданному выводу: наилучшим гарантом гражданских прав и свобод является в России самодержавный строй. (Все-таки права человека остаются для Карамзина на первом месте.)

Крушение классицизма – это крушение идеала героической личности, жертвующей своими склонностями в пользу долга. Ведь если государство – Левиафан, если государь (незлوبي-

вый и добропорядочный Людовик XVI, к примеру) – тиран, то жертвовать становится нечему и незачем.

Классицизм пал жертвой просветительской идеологии, либерально-атеистическое мироощущение развело его конструкции. Но непригодность для жизни просветительских идеалов обнаруживается достаточно быстро, и сентиментализм – только первый кризис воцарившейся идеологии, ее детская болезнь.

В чем же сущность сентиментализма?

Человек по-прежнему стремится к гражданской свободе, но теперь он стремится к ней не потому, что это разумно и целесообразно (какая уж целесообразность в «штурме Бастилии», где, как на грех, не оказалось 14 июля ни одного арестанта, в обожествленном разуме м-ль Обри, в гражданской войне и массовом терроре), а просто отдельная личность, развиваясь, приобретает настолько уже богатый внутренний мир, что становится невозможным и неприличным держать ее в оковах. А критерий развитости личности, счастливо обнаруженный незадолго до революции, – чувствительность.

Человек рыдает над сдохшим ослом (у Стерна) – значит, человек тонко чувствует, внутренний мир его богат.

И вот эта слезинка, капнувшая на околевшую скотину, смывает с человека путы первоначального греха, рабский образ с него смывает, и миру является новая тварь: Человек Чувствительный.

Когда классицист Державин напомнил современникам, упивавшимся сентименталистскими стихами и прозой, о том, что Суворов, «скиптры давая, звался рабом», то в этом, помимо перечисления известных фактов, заключался еще и упрек деятелю новой формации, который, не имея еще никаких заслуг, да что там заслуг – из пеленок уже выскакивал Человеком с большой буквы: «*Не скот, не дерево, не раб, но человек!*»

Упрек Державина, однако, не вызвал переполоха. Его просто не заметили.

Потому что бывают времена, когда все простое, здоровое, ясное перестает восприниматься таким, каково оно есть, и начинает томить – прискучивает. Когда хочется остренького. «Горя не видел настоящего», – говорят в народе про человека, захваченного такими настроениями. И действительно, эпоха, в которую подобные настроения становятся преобладающими, оканчивается, как правило, катастрофой.

Бестактно было со стороны Державина напоминать о том, что Суворов «спал на соломе». Суворов ведь и о чистоте солдатского белья заботился (сам проверял), и требовал в приказах, «чтоб за каждым батальоном вырыто было по три ямы в назначенный размер, переменять оные через три дня...» Какое значение могла иметь вся эта казенщина и обыденщина в дни Карамзина, когда открылось, что не мужчинам, а женщинам назначено вести мир к добру и совершенству. Да, женщинам, потому что их натура утонченнее и непосредственнее мужской. А истинная жизнь – жизнь сердца.

Нам трудно понять сегодня, что в этом такого электризующего: смерть осла, жизнь сердца, мир, который нужно куда-то вести... И живи мы в эпоху Карамзина, мы, может быть, точно так же не понимали бы этого – но тогда мы постыдились бы в этом признаться.

Тут мы сталкиваемся – и в России это впервые проявляется с такой силой, – сталкиваемся с явлением моды. С одной из наихудших ее разновидностей – с модой интеллектуальной.

Молодой Карамзин был современником Ксении Петербургской, жил два года в одном городе с нею и, разумеется, не подозревал о ее существовании. Зато он знал (в числе немногих избранников), что в дальних странах существуют дивные мужи – украшение человечества: Виланд, Лафатер, Тальма... Собственно говоря, для этого он и отправился в свое знаменитое путешествие – чтоб рассказать Виланду и Лафатеру о том, что в России, преображенной гением Лефорты, знают и почитают их имена.

Суворов тоже путешествовал на Запад (во главе вверенных ему полков) и, владея пятью иностранными языками, подолгу общался с эрцгерцогом Карлом, с принцем Конде, с последним польским королем Станиславом Августом, с другими выдающимися представителями западного мира – на их территории. Преимущество Карамзина перед Суворовым заключалось не только в том, что он – писатель и журналист – мог поделиться своим опытом с читающей публикой, но и в том, что его опыт общения с европейскими знаменитостями был читающей публике по плечу.

Карамзин-журналист продолжил дело, начатое Новиковым, хотя программы их журналов на первый взгляд не имеют ничего общего. Моралист Новиков обличал придворные обычаи с позиций внеконфессиональной масонской «духовности»: модный жаргон, элегантные причуды дворянской молодежи отвергались им на тех же основаниях, на каких отвергались привилегии (а заодно и заслуги перед отечеством) отцов и дедов этих молодых людей. Гуманист Карамзин старался светскость, «людскость» распространить как можно шире, сделать придворные обычаи, придворную культуру достоянием средних слоев общества.

Новиков связан генетически со свирепыми республиканцами Якобинского клуба, с Катонами и Брутами 1793 года, с героями нашего 14 декабря. Карамзин выступает провозвестником той «буржуазной фальсификации барства» (К. Леонтьев), которая станет основным стилем западноевропейской жизни после 1848 года. Новиков и молодой Карамзин находятся в одном лагере – в лагере либерально-атеистического прогресса, просто их деятельность принадлежит разным стадиям либерального движения.

Именно молодой Карамзин стал в России застрельщиком того процесса, к которому Пушкин готов был снисходительно примениться («*К чему бесплодно спорить с веком?*»), которого полное развитие захватил уже Гоголь, осознавший до конца зловещий смысл происходящих в общественном сознании перемен.

Послушайте, что пишет он в своей последней книге (освистанной Белинским из зальцбургской подворотни) о моде:

«Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья... Что значат эти странные власти, образовавшиеся помимо законных?..

Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне?.. Газетный листок становится нечувствительно законодателем его не уважающего человека».

Мерно, скупно, как удары великопостного колокола, падают слова Гоголя:

«Дьявол выступил уже без маски в мир».

«Московский журнал», где были напечатаны «Письма русского путешественника», пока еще заслуживает уважения. Это еще не «газетный листок» (чем станет журналистика в руках Булгарина и Полевого). Но это уже странная власть.

«Сочинения Карамзина были приняты с необыкновенным восторгом, – рассказывает М. Дмитриев. – Красота языка и чувствительность – вот что очаровало современников. Молодые люди и женщины всегда восприимчивее и к чувствительному и к прекрасному... Их-то любимцем сделался Карамзин как автор...» А эти молодые люди, добавим от себя, будущие царские министры, государственные деятели: Дашков, Блудов, Вяземский.

Очень известный эпизод, связанный с началом литературной деятельности Карамзина, – эпидемия самоубийств, вызванных повестью «Бедная Лиза».

Эпизод, о котором принято вспоминать с умилением, хотя посиневшие лица бедных утопленниц, право же, совсем не милы и не забавны. Но и громы метать, по всей видимости, не в кого: несчастные девицы без того наказаны слишком жестоко, Карамзин в воду никого не толкал и вообще учил не этому.

«Кто виноват?» – Виноватых, как водится, нет.

Между тем механизм дьявольской ловушки в данном случае совершенно открыт, да и сам ловчий, «человекоубийца искони», не маскируется. Учение Церкви (считающей самоубийство самым черным, неискупимым грехом) не опровергается, не подвергается даже сомнению – оно просто не учитывается. «Не спросили, забыли поинтересоваться». Тут сама Истина впервые становится чем-то неинтересным, пыльным, *старомодным*. Истина больше не обязывает. Истина переходит в ведение благочестивых старух и школьных учителей – Панглосов, смешных педантов.

А русский путешественник внимает языку сердца, и какое ему дело до прописных истин, о которых прекрасно сказал поэт-сентименталист Дмитриев:

Так громко, высоко!.. а нет, не веселит,
И сердца, так сказать, ничуть не шевелит!

На дворе новый век, девятнадцатый, и новый критерий подлинности – патентованный, признанный всем цивилизованным миром: чувствительность. «К чему бесплодно спорить с веком?» Чувствительной девушке берedit сердце трогательная участь Лизы, которую все жалеют, все любят, – и так хочется попасть поскорее на ее место, чтобы и тебя все пожалели и полюбили, чтобы жизнь, такая спокойная, однообразная и сытая, приобрела наконец некий высокий смысл. Тем более что теперь, как слышно, именно женщины, чья натура утонченнее и непосредственнее мужской, должны будут вести мир к совершенству... Бултых!

И еще одна деталь духовной биографии молодого Карамзина привлечет наше внимание. Известно, что Робеспьер был некоторое время его кумиром. И есть основания полагать, что симпатию к этой зловещей личности Карамзин сохранял до конца. Вопреки разуму, вопреки своему пониманию истории гуманный, ясный, неизменно хладнокровный Карамзин был Робеспьером как бы загипнотизирован, зачарован.

Робеспьер и Карамзин... Казалось бы, трудно найти двух более непохожих людей. Бешеный честолюбец, провинциальный Тартюф, заливший кровью родную страну, ненавидевший знатность, богатство, талант, – и русский аристократ, образец душевного благородства, такта, нестяжательности, «счастливый семьянин, мудрец чистосердечный», обожаемый читателями, обласканный царской семьей... Что между ними общего?

Дело в том, что тип мирочувствия у них совпадает. Сентиментальность и жестокость – родные сестры, и Робеспьер, «сентиментальный тигр», был весьма чувствительным человеком в частной жизни: почитал добродетель, невинность, ценил буколические сцены... Карамзин по природе своей не был жесток, и у него кругозор был несравненно шире, богаче запас жизненных наблюдений, чем у кровожадного и узколобого фанатика Робеспьера, но с этим узколобым фанатиком Карамзину оказалось *по пути*. Они сделали одинаковый выбор: живое сердце предпочли мертвому катехизису.

Добро, которое не для Бога делается, становится для них обоих во главу угла. Бог Сам по Себе, добро само по себе. Добро самоценно. «Спешите делать добро...»

Старомодная мудрость Нового Завета («сила Моя совершается в немощи», «что высоко у людей, то мерзость пред Богом») вынуждена ступать перед бурным натиском самородного добра. Причем злой человек чувствует себя в этой буре как рыба в воде: высокая цель оправдывает любые средства, и можно злодействовать свободно. А с добрым человеком, однажды вступившим на этот путь, ничего особенного не происходит – так, понемногу отступает благодать, понемногу замутняется духовное зрение...

Робеспьера Карамзин, что называется, «видел издали» (присутствовал на его выступлениях в Национальном собрании), а вот Пушкина знал хорошо. И надо сказать, что выбор между двумя знаменитыми современниками не стоил Карамзину большого труда: сердце (а оно, как известно, ошибиться не может), немного поколебавшись, окончательно склонилось к 1818 году

на сторону покойного якобинца. Духовная трезвость Пушкина, врожденное ему здравомыслие были восприняты Карамзиным как бесчувственность и цинизм, оттолкнули его от Пушкина. А тигриные свойства Робеспьера не помешали Карамзину любить в этом деятеле главное – его чудную сентиментальность.

Обратимся наконец к стихам Карамзина. Державин высоко ценил их и сетовал на то, что Николай Михайлович уделяет поэзии недостаточно внимания: «*Пой, Карамзин! – И в прозе // Глас слышен соловьи*».

А вот Катенин заметил однажды, что «мудрено восхищаться поэзией прозы юного Карамзина или прозой его стихов», и Катенин, конечно же, прав в том отношении, что стихи у Карамзина не рожденные, а сочиненные, искусно сфабрикованные. Именно прозаичные.

Но и Державин прав не меньше. Стихи Карамзина внесли в нашу книжную поэзию новый звук – и звук русский, В каком-то смысле (достаточно узком) Карамзин более русский поэт, чем все его предшественники.

Вяземский, характеризуя общее «направление лир» Петрова и Державина, пишет о некоторой *напряженности* их стихов – и с этим приходится согласиться. Присущая многим стихам Державина жесткость, уродливые формы, которые приобретает под его властной рукой синтаксический строй русского языка, не одного читателя заставляли помянуть недобрым словом пресловутого татарского предка Державина и его казанское детство. Все это черты не русские, даже не славянские.

А вот Карамзин (хотя фамилия его и содержит татарский корень) не совершает в стихах ни малейшего насилия над языком, покоряется его духу. И мягкость – не чувствительное содержание, а благородная мягкость интонации – придает его скромной Музе славянский вид:

Блажен не тот, кто всех умнее —
Ах, нет! он часто всех грустнее, —
Но тот, кто, будучи глупцом,
Себя считает мудрецом!

Или еще:

Как трудно общество создать!
Оно устроилось веками;
Гораздо легче разрушать
Безумцу с дерзкими руками.

Рисунок верен, линии проведены твердой рукой, но в этой руке – мягкий карандаш. Не так уж важно, был ли Карамзин поэтом, некая власть над словом была ему дана. Меня стихи Карамзина переносили всегда в атмосферу детства: неповторимая *родительская* интонация у этих прозаичных строчек, их не спутаешь ни с какими другими.

Гердер, рассуждая в своей «Философии истории человечества» о судьбах славян, особенно подчеркивает их мягкий характер.

«Они обрабатывали землю и пользовались ею, их спокойное, бесшумное существование было благодатным для земель, на которых они селились, – пишет Гердер. – Они занимались добычей руды, умели плавить металл, изливать его в формы, они варили соль, изготавливали полотно, сажали плодовые деревья и, как того требовал их характер, вели веселую музыкальную жизнь. Они были милосердны, гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу».

«Коль скоро они не стремились к господству над целым светом и готовы были лучше платить налог, только чтобы землю их оставили в покое, то многие народы, а больше всего немцы, совершили в отношении их великий грех».

«Несчастье этого народа заключалось в том, что он не смог установить долговечного военного строя, хотя у него и не было недостатка в мужестве в минуту бурного сопротивления».

Среди славянских народов только русские сумели создать долговременный военный строй, сумели, по счастливому выражению Случевского:

Стать царством и народ спасти, —

но чего это стоило нам!

Настолько силен был натиск с Запада, что Московские цари вынуждены были в конце XVI века ввести крепостное право. (И спустя триста лет тот же Случевский прекрасно напишет о пережитом времени:

Век крепостничества погас.
Но он был нужен, он нас спас, —

только сначала нужно было пережить эти триста лет.) А спасительные реформы Петра были проведены в жизнь настолько по-немецки, настолько грубой, насильнической рукой, что природная славянская мягкость была в нас подавлена надолго. И только в екатерининскую эпоху она начинает понемногу оттаивать и подавать голос: у Хераскова, у Михаила Муравьева, у Нелединского-Мелецкого, а в полную силу – у Карамзина:

Все для меня обновилось;
Всем веселюсь:
Солнцем, зарею, звездами,
Ясной луной.

Сон мой приятен и кроток;
Солнечный луч
Снова меня призывает
К радостям дня.

Заслуживает нашего внимания и попытка Карамзина установить стихотворный размер, «совершенно русский» (1795 год, сказочно-богатырская поэма «Илья Муромец»).

Карамзин утверждал, что «почти все наши старинные песни сочинены такими стихами», и на какое-то время ему поверили, на какое-то время сочиненный им размер (нерифмованный четырехстопный хорей с дактилическим окончанием) воцарился в качестве «русского размера», «русского лада». Им пользовался Гнедич при переводе песен Оссиана, использовал его и молодой Пушкин. Во время Отечественной войны, когда возникла нужда в оперативной патриотической поэзии, этот размер работал:

А Кутузов – щит отечества,
Мышцей крепкою, высокою
Сокрушивший тьмы и тысячи
Колесниц, коней и всадников
Так, как ветер великий севера
Истребляет пруги алчные,

Губит жабы ядовитые,
Из гнилых болот налезшие
И на нивах воссмердевшие...

(А. Ф. Воейков)

Мы с вами говорили на прошлом чтении про попытки Львова в этом роде; теперь мы видим, как Карамзин (примерно в те же годы, что и Львов) пытается залатать брешь, зияющую между книжным стихотворством и народной поэзией. Неблагополучие ощущается лучшими представителями дворянской культуры задолго до выхода на проповедь первых славянофилов.

Крупнейшим поэтом сентименталистской поры стал Иван Иванович Дмитриев. Хотя нужно сразу же оговориться, что по всем своим понятиям Дмитриев – французский классик. Эти понятия он перекладывал (и довольно удачно) на русский язык. А в сентименталисты Дмитриев попал за компанию с Карамзиным, которому был дальним родственником и близким, доверенным другом. Именно Карамзину, хоть он и был младше Дмитриева шестью годами, принадлежала в этом творческом союзе роль лидера и идеолога.

Карамзину же принадлежит и широкоизвестная стихотворная надпись к портрету Дмитриева:

Министр, поэт и друг: я все тремя словами
Об нем для похвалы и зависти сказал.
Прибавлю, что чинов и рифм он не искал,
Но рифмы и чины к нему летели сами.

Действительно, Дмитриев был крупным государственным деятелем, заслуги его перед русской словесностью тоже крупны и бесспорны.

Я уже говорил о том, что ландшафт русского литературного языка в XVIII столетии резко контрастен: лесные массивы (народная речь), монастырские уголья (церковно-славянский язык), котлованы и пустыри с горами строительного мусора (варваризмы) – вот на этой основе и был создан в следующем веке прекрасный сад нашей классической литературы. А пока что требовалась черновая, подготовительная работа: вырубить лес, озеленить пустырь, переделать келейный корпус и звонницу в павильон Трех Граций... Ломоносов создал теорию, оставил блестящие образцы новой поэзии – требовалось запустить эти образцы в массовое производство, требовалось поднять средний уровень версификации. Над разработкой литературного языка и трудились два поколения русских поэтов в XVIII столетии. Только Державин мог распорядиться этим необъезженным языком по своей воле, гнал стих через рвы и ухабы, оставляя соперников далеко позади, – зато и дров в этой скачке было им наломано немало. Еще в начале XIX века Херасков, патриарх московского Парнаса, выступает перед молодыми поэтами с программным требованием *гладкости* стиха. («Чистите, чистите, чистите!» – известный призыв Хераскова, одно воспоминание о котором до слез смешило участников «Арзамаса» и через десять лет после смерти Михаила Матвеевича.) Элементарные гладкость и чистота стиха все еще были редки.

Именно Дмитриеву суждено было поднять планку, установить и закрепить новый уровень версификации – и именно тот, на котором она в общем и целом остается по сей день.

И именно поэтому стихи Дмитриева не читаются сегодня. Дмитриев – очень уважаемое имя в истории литературы, но, кроме известного зачина:

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь;
Миленький его дружок

Отлетел надолго прочь, —

ни одной отроки Дмитриева на слуху у современного любителя поэзии нет. Стихи Дмитриева сегодня не живут.

Чтобы нам отчетливее представить, отчего и как это произошло, сравним два четверостишия.

Первое называется «Репейник и Фиалка».

Между Репейником и розовым кустом
Фиалочка себя от зависти скрывала;
Безвестною была, но горестей не знала, —
Тот счастлив, кто своим доволен уголком.

«Закон природы» – так называется другое четверостишие.

Фиалка в воздухе свой аромат лила,
А волк злодействовал в пасущемся народе;
Он кровожаден был, фиалочка мила:
Всяк следует своей природе.

Первое четверостишие принадлежит Дмитриеву. В пятьдесят шесть лет маститый поэт выпускает книгу апологов, нравоучительных четверостиший; всего их в сборнике как раз пятьдесят шесть. Плод многолетних досугов, многолетних раздумий, кропотливый и высококвалифицированный труд (большинство апологов – переводы из второстепенных французских поэтов начала XIX века), лебединая песня Дмитриева...

А «Закон природы» – это плод досугов Языкова и Пушкина. Вот они встретились как-то в Тригорском, раскрыли со скуки книгу Дмитриева, что-то их там насмешило – в результате Языков накатал в два приема двенадцать четверостиший:

Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей;
Страшатся щуки крокодила;
От тигра гибнет волк, а кошка ест мышей,
Всегда имеет верх над слабостию сила.

Апологи Языкова, сочиненные в минуту отдыха, не уступают в техническом отношении апологам Дмитриева, написанным всерьез и из последних сил; но ведь стихи Языкова еще и пародия – и на старика Дмитриева, и на жанр нравоучений... Здесь нет литературного соперничества, литературной борьбы. Это – избиение.

Ведь главное требование, которое Дмитриев предъявлял к литературному творчеству, звучит так: «Писать на языке, подходящем к разговорному образованного общества», – вот он и получил язык образованного общества на свою голову. Уж что-что, а обидеть, унижить, выставить в смешном виде – это в светских гостиных умели всегда.

То есть высота, на которую Дмитриев с неимоверным трудом вскарабкался, до которой смог дотянуться (честь ему и хвала за этот подвиг), стала для поэтов Золотого века таким местом, на котором они ели и пили, рождались и умирали – одним словом, жили.

Но есть у Дмитриева вещь, которую и сегодня приятно прочесть: написанная в 1794 году сатира «Чужой толк». Этой сатирой Дмитриев похоронил торжественную хвалебную оду – нормативный жанр в эстетике классицизма, – их перестали писать, их стало неприлично писать после Дмитриевской антиоды.

Что за диковинка? лет двадцать уж прошло,
Как мы, напрягши ум, наморщивши чело,
Со всеусердием всё оды пишем, пишем,
А ни себе, ни им похвал нигде не слышим! —

так начинает Дмитриев и потом, перебрав несколько причин, по которым ода могла разочаровать читателя, начинает просто показывать образ действий записного одописца: вот он разворачивает газетный листок, встречается сообщение о новой победе Суворова в Польше – и неизбежное совершается. Мельница начинает молотить.

Он тотчас за перо и разом вывел: ода!
Потом в один присест: такого дня и года!
«Тут как? Пою!.. Иль нет, уж это старина!
Не лучше ль: Дажь мне, Феб!.. Иль так: Не ты одна
Попала под пяту, о чалмоносна Порта!
Но что же мне прибрать к ней в рифму, кроме черта?
Нет, нет! нехорошо; я лучше поброжу
И воздухом себя открытым освежу».

Вот он гуляет на открытом воздухе и размышляет о том, что героя надо же хвалить! Полагается же его с кем-то из прежних героев сравнивать! С кем только?

С Румянцевым его, иль с Грейгом, иль с Орловым?
Как жаль, что древних я не читывал! а с новым —
Неловко что-то все. Да просто напишу:
Ликуй, Герой! ликуй, Герой ты! – возглашу.
Изрядно! Тут же что! Тут надобен восторг!
Скажу: Кто завесу мне вечности расторг?
Я вижу молний блеск! Я слышу с горня света
И то, и то...

Полная непринужденность, точность и изящество в каждом жесте, виртуозная передача разговорной речи, – кажется, что Сумароков встал из могилы и расквитался-таки с Ломоносовым за его «надутость» и «ученость». И вот уже читающая Россия, страхнув о себя оковы классических правил, облегченно смеется над дмитриевским педантом, а педант, немного ей подыгрывая,

Над парюю стихов просиживает ночь,
Потеет, думает, чертит и жжет бумагу;
А иногда берет такую он отвагу,
Что целый год сидит над одою одной!
И подлинно уж весь приложит разум свой!
Уж прямо самая торжественная ода!
Я не могу сказать, какого это рода,
Но очень полная, иная в двести строф!
Судите ж, сколько тут хороших есть стишков!
К тому ж, и в правилах: сперва прочтешь вступление,
Тут предложение, а там и заключенье —

Точь-в-точь как говорят учены по церквам!
Со всем тем нет читать охоты, вижу сам.
Возьму ли, например, я оды на победы,
Как покорили Крым, как в море гибли шведы;
Все тут подробности сраженья нахожу,
Где было, как, когда, – короче я скажу:
В стихах реляция! прекрасно!.. а зеваю!
Я, бросивши ее, другую раскрываю,
На праздник иль на что подобное тому:
Тут найдешь то, чего б нехитрому уму
Не выдумать и ввек: зари багряны персты,
И райский крин, и Феб, и небеса отверсты!

Кто-нибудь заметит, пожалуй, что в своей сатире Дмитриев неоднократно бьет лежачего, бьет старика Петрова, которому в 1794 году недолго оставалось жить и о котором, кстати сказать, сам Дмитриев в почтовой прозе и в стихах не раз отзывался с большим уважением: «... *вот Петров, //Счастливейший поэт времен Екатерины; //Его герои – исполины; //И сам он по уму и духу был таков*».

Но у литературы свои законы и своя мораль. И Дмитриев, уважая в Петрове поэта и человека, просто не мог с ним не полемизировать. Они, конечно же, антиподы в лирике – певец великих людей и великих дел, пылкий, «громкий» Петров и сдержанный, опрятный Дмитриев с его культом отточенных поэтических безделок.

Кто же из них остался прав в литературном споре? Дмитриев много сделал для разработки литературного языка; Петров, обладая слогом архаичным и шершавым, создавал такие вещи, которые и сегодня, двести с лишним лет спустя, сохраняют свежесть и злободневность («вещий пиит» – так обмолвился о Петрове Пушкин), доходят до самого сердца:

Война, война висит ужасна,
Россия, над твоей главой,
Секване мочь твоя опасна;
Она рог стерти хочет твой.
Ты в том винна пред ней едином,
Что ты ей зришься исполином;
Ты кедр, а прочи царства – трость.
Так ты должна болеть, сражаться,
И в силах ты должна теряться,
Чтоб ей твоею тратой рость.
.....
Чудовища всеродны ада,
Все злое, кроме лишь себя,
Она бы выставити рада,
Россия, супротив тебя.
Но турк пошлет свои знамена,
И аду казнь ее замена.

После Дмитриева стало невозможно писать такие темные и шершавые стихи (хотя, по существу, в них устарело сегодня только одно слово: «Секвана»), Дмитриев победил. Но сегодня, когда победитель и побежденный давно уже спят в могиле, это никому не интересно.

Борьба закончилась, остались стихи Дмитриева и стихи Петрова. Первые, более чистые, более музыкальные, уступают вторым в содержательности и силе.

Очень интересны последние годы Дмитриева: он жил в Москве, в отставке от царской службы и от поэзии – и, надо сказать, в отставке почетной. Он закончил свои дела, красиво закончил, и жил не столько наблюдателем новой, сколько представителем прошлой литературной эпохи.

Пушкин набросал портрет Дмитриева в эти его последние годы:

...в душистых седилах
Старик, по старому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

Не могу отказать себе в удовольствии и приведу хотя бы две шутки Дмитриева из числа сохранившихся в его обширной переписке.

«Я получил от Хвостова стихи – прощание его с землею. Говорит, что он скоро полетит весь в лучах. Это любопытно было бы видеть».

А вот он, прочтя альбомное стихотворение Шевырева, обращенное к какой-то московской даме: «*Да не полюбишь никогда // Моих стихов, облитых кровью*», – сообщает эти строки своему корреспонденту и добавляет: «Какою? разве из носу, от долгого сиденья за бумагою».

Вяземский, шурин Карамзина, близко знавший Дмитриева, упивавшийся его устными рассказами из времен Екатерины и Павла, ждал чудес от печатных воспоминаний Дмитриева – и был ими жестоко разочарован. Дмитриев в мемуарах официален, сдержан, корректен – застегнут на все пуговицы. Он и лучшие свои вещи – «Чужой толк», «Модную жену» – не хотел включать в итоговое издание своих сочинений. Самобытные и ярко талантливые, эти вещи были единичны, нехарактерны для такого поэта, каким сознавал, каким созидал себя Дмитриев, и нарушали композицию заветного двухтомника. Насилу Вяземский его переубедил.

Современный лиризм предполагает жизнь, расколоченную вдребезги, вывернутую наизнанку душу, *сердце сочащее*, нередко и разбитый нос. А уж за удачную вещь – пусть в тифозной горячке написанную, но *прозвучавшую*, вызвавшую энтузиазм у широкого читателя, – готовы в самом буквальном смысле заложить черту душу. Солгать, украсть...

Дмитриев дорог нам не только потому, что он много сделал, – он и сохранил многое. Человек, предполагающий перешагнуть из этой временной жизни в жизнь вечную, должен многим запастись в дорогу. И писательское целомудрие Дмитриева, я уверен, еще не раз привлечет вдумчивого читателя.

Время, в которое Дмитриев оставил литературу, – время Аустерлица и Тильзита, 1805–1807 годы. И около этого времени не без помощи Дмитриева русская поэзия окончательно мужает и твердо становится на ноги.

Начинает Жуковский – и блестяще начинает. Уже существуют первые гусарские песни Дениса Давыдова. Начинается Батюшков. В расцвете сил и таланта находится Мерзляков, почтеннейший профессор (впоследствии и декан) Московского университета, автор чеканных, тяжелостопных строф «Оды на разрушение Вавилона» и нежнейших, интимно знакомых русскому сердцу песен «Среди долины ровныя...» и «Ах, что ж ты, голубчик, невесел сидишь...»

Встречаюсь ли с знакомыми —
Поклон да был таков;
Встречаюсь ли с пригожими —
Поклон да пара слов.

Одних я сам пугаюся,
Другой бежит меня.
Все други, все приятели
До черного лишь дня!..

Друг Мерзлякова и друг Жуковского, двадцатидвухлетний Андрей Тургенев умирает в самом начале XIX столетия, успев, однако, написать превосходное стихотворение «К отечеству» и одну из лучших русских элегий «*Угрюмой осени мертвящая рука...*»

Гнедич упорно трудится над переводом «Илиады», появляются первые басни А. Измайлова.

Обретает литературную известность князь Иван Михайлович Долгоруков, поэт-дилетант, родной внук Натальи Борисовны Шереметевой.

Жизненный подвиг этой замечательной женщины, воспетый в романтической поэме Козлова, увековеченный в несравненных «Своеручных записках...», как-то замысловато контрастирует с основным тоном поэзии ее внука – напористым, несколько даже расхлябанным:

Парфен! Напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, с скуки изнываешь.
Ты беден – следственно, терпи.

Блаженство даром достается
Таким, как ты, на небеси;
А здесь с поклону все дается.
Ты беден – следственно, проси.

Иной шага не переступит,
С софы не тронется своей,
А сходно все достанет, купит.
Ты беден – бегай и потей.

Не правда ли, вам послышались в этих стихах некоторые цинизм, жесточенность? Ничего подобного. Послушайте, что будет дальше:

О бедность! горько жить с тобою!
Нельзя и чувствам воли дать.
Я, рассуждая сам с собою,
Не мог вовек того понять,

Как могут люди быть такие,
У коих множество всего,
И в том же свете есть другие,
У коих вовсе ничего?

И тени цинизма нет, а только обескураживающее простодушие – чисто русская черта характера и вместе с тем отличительная особенность природного таланта, не озабоченного тем, как он выглядит со стороны. В стихах князя Долгорукова нет подтекста, в них до дна выбалтывается (за сто лет до Розанова) взбалмошный, доверчивый и мягкосердечный русский обыватель.

Надо сказать, что Долгоруков, потомок древнего и знатного рода, имевшего почти тысячулетнюю историю, о бедности писал не понаслышке. Имена Долгоруких были конфискованы при Анне Иоанновне; огромное состояние полтавского победителя фельдмаршала Б. П. Шереметева досталось брату Натальи Борисовны, который не уделил и полушки родившемуся в ссылке племяннику Михаилу (и эта несправедливость в какой-то степени способствовала неслыханному расцвету садово-паркового искусства в Кусково, Останкино и Архангельском, дала возможность троюродному брату нашего поэта, не считаясь с общественным мнением, вступить в брак с талантливой актрисой собственного крепостного театра). Не особенно удалась князю Ивану Михайловичу и карьера чиновника.

Впрочем, он сам описал свою жизнь, свои злоключения в большом стихотворении «Я», довольно необычном по той откровенности, с которой автор выболтал о себе все – много даже и совсем лишнего, ненужного.

Вот несколько отрывков из этого стихотворения, посвященных годам учения молодого князя:

Да что-то я на все тупенек смладу был:
Иное не далось, иное позабыл.

.....
Что денег Бог пошлет, в минуту сосчитаю,
А математики совсем, мой друг, не знаю.

.....
Учился фехтовать за дорогую цену,
И вечно попадал не в цель, а прямо в стену.

Бивал все в барабан бои до одного,
А ныне, хоть убей, не помню ничего.
В манеже три зимы меня ль не муштровали,
К езде на лошадях всемерно приучали;
Но все затевать, чего нет на роду:
Не только что с коня – с клячки упаду.

Бог вещь какой величины поэт получился бы из князя Долгорукова, если бы он ответственнее относился к своему таланту. Может быть, и не очень крупной. А так, валяющий экспромтом страницу за страницей, он очень оригинален и мил.

Что-то старомосковское, фамусовское – то есть фамусовские добродушие и любезная откровенность без расчетливости Фамусова, без его житейской хватки...

Семен Сергеевич Бобров. Тоже не совсем обычный поэт. Уроженец Ярославля, прибывший в Москву за знаниями и здесь почувствовавший, что не боги, так сказать, горшки обжигают, что в груди Семена Боброва тоже горит огонь, погасить который не властно ни время, *«ни дождь разъедающий, ни жестокий Борей...»*

Талантливость Боброва очевидна, сознание избранничества развилось в нем с необычайной силой; закончилось все это пьянством, чахоткой и безвременной смертью.

Полусумасшедший поэт, но с проблесками гениальности.

Какая густота подымлется седая
К горящим небесам с простывших сих полей!
Смотри! почти везде простерлась мгла густая,
И атмосфера вся очреватела ей!

С востока ночь бежит к нам с красными глазами... —

так пишет Бобров (в стихотворении «Прогулка в сумерки»), и уж точно здесь ощущается «соседство инобытия», вот только какого? Мистическая струя, пробивающаяся в творчестве Боброва, мутновата, источник ее сомнителен. Бобров – сын священника, и в своем стремительном взлете он от этого сословия оттолкнулся, влетел в Московский университет, в кружок Новикова, в масонский журнал «Покоящийся трудолюбец», в «*дни Александрических прекрасное начало*» – и сгорел в их атмосфере, которая вот уж действительно «чреватела» густой мистической мглой.

Подобно В. Петрову, Бобров – поэт, который может еще дождаться своего часа, обрести своего читателя. А при жизни он не знал читательского признания, и это, наверное, справедливо: эстетические притязания Боброва резко своеобразны, имеют мало общего с обычными человеческими представлениями о прекрасном. Боброва интересно изучать, легко восхищаться его стихами – для чтения они не годятся. Находясь в первоклассном поэтическом времени, Бобров нетерпеливо отмахивается от всех утешений, предлагаемых им, и устремляется в будущее – и в будущее, надо сказать, довольно скверное (футуризм, «научная» поэзия). Новатор и экспериментатор по призванию, что хорошего мог он создать, гребя всю жизнь против течения, способного дать (и давшего в следующем поколении) Пушкина, Тютчева, Баратынского?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.